# Как стать фантастом

# Кир Булычев

# Записки семидесятника

Многие выдающиеся писатели и деятели культуры оставили свои мемуары. Мы их читаем и радуемся возможности посплетничать с разрешения автора.

Это тем более интересно, если автор с детства догадался о своем предназначении и принялся вести дневник.

Из дневника следует, что с ранних лет автор встречался со своими будущими коллегами, и те поили мальчика чаем, а потом давали мудрые советы.

Что говорит неудачливый спортсмен, сбивший планку? Он утверждает, что и не собирался покорять два с половиной метра.

А проходил мимо стадиона и случайно занес не туда ногу.

А что говорит любовник свой подруге: «Жена меня не понимает и никогда меня не привлекала».

Вот с точки зрения этих двух постулатов прошу рассматривать мою писательскую жизнь.

Во-первых, я не собирался становиться писателем и сейчас не хочу им быть. Просто проходил мимо стадиона и занес не туда ногу. А хотел я стать сначала художником, а потом палеонтологом.

Я даже образование получил не по вкусу. Собирался в геолого-разведочный, а поступил на переводческий. При условии, что в аттестате зрелости было только две тройки — по тригонометрии и по английскому.

Соответственно я никогда не был знаком со старшими коллегами, и ни один писатель не поил чаем резвого мальчонку и не передавал мне лиру. Я и сейчас знаком с немногими писателями.

Первая же рецензия, в которой говорилось обо мне и опубликованная по появлении моего второго или третьего опуса, сообщала, что я подавал надежды, но исписался, а все, что создал, украл у более достойных литераторов. Даже девочку Алису стащил у уважаемого Льюиса Кэрролла.

Я не могу написать мемуаров, потому что не знаю, о чем в них писать. В моей жизни ничего не происходило — она просто промчалась где-то рядом со мной, попыхивая дымом, как паровоз.

Так что мой опус, пожалуй, можно считать псевдомемуарами. Самого виновника торжества здесь не будет. Но я постараюсь рассказать об обстановке, родившей на свет и вырастившей плод, который почему-то принялся писать фантастические произведения.

В чем причина этого? В генетике? Или в роли окружающей среды? Как создавался социальный феномен Кира Булычева?

Ведь независимо от его объективной ценности как писателя, он есть порождение странных и разнообразных сил, схлестнувшихся на арене советской истории. Насколько эти силы сами по себе фантастичны? Насколько фантастичны их совокупности?

Пожалуй, только такая постановка вопроса может оправдать появление настоящих как-бы-мемуаров.

Напомню о втором выдвинутом мною постулате: о жене, которая меня якобы не понимает и не привлекает как женщина.

Моих книг не бывает в рейтинг-листах «Книжного обозрения», их нет и быть не должно в номинациях «Интерпресскона» или других конкурсов. Фэны не пишут мне писем и не устраивают клубов имени-памяти меня. Очень соблазнительно и утешительно в таком случае полагать, что меня не понимают читатели, что они плохо воспитаны, а критики — недобрые и злобные люди.

К сожалению, долго на такой гордой позиции не продержишься.

Я — представитель определенной категории массовой литературы, я даже не шестидесятник, а семидесятник (явление, в отличие от шестидесятничества, не воспетое и не исследованное). Кстати, именно на семидесятые и восьмидесятые годы падает моя активная деятельность в кино. А ведь мало кто сегодня помнит, что я написал сценарии к дюжине полнометражных фильмов и несметному числу короткометражек. К тому же мне удалось занять пустующую экологическую нишу фантастики для детей, постарше тех, которые уже были обласканы Эдуардом Успенским.

Девяностые годы — годы моего постепенного отхода в тень.

Я не совсем пропал из виду, но потускнел настолько, что приходится брать телескоп, чтобы разглядеть.

Я согласился на то, чтобы написать статью «Как стать фантастом», потому что мне интересно субъективно осмыслить эпоху как сумму влияний, родивших определенного цвета мышку.

И прошу вас, не воспринимайте все мои без исключения слова как чистую правду или попытку сказать чистую правду. Чистой правды вообще на страницах мемуаров не бывает. На страницах лжемемуаров одного из фантастов Страны Советов чистая правда должна быть перемешена с непроверенной информацией и разного рода апокрифами.

К тому же мы будем иметь дело с исторической прозой, которая является самой живой из видов литературы. Я не претендую на создание художественного произведения. Я ничего не буду придумывать. Все факты, которые можно проверить, на самом деле суть факты. Имена — настоящие. События имели место.

Остальное — ложь.

Автор, известный также как Игорь Всеволодович Можейко, родился в Москве, в Банковском переулке возле Чистых прудов 18 октября 1934 года в семье пролетариев — слесаря Всеволода Николаевича Можейко и работницы фабрики Хаммера Булычевой Марии Михайловны.

Этим я сделал первый шаг к фантастике, ибо трудно придумать более лживую информацию, тем более что приходится собирать ее по крохам.

Я отношусь к той широкой категории российских подданных, семьи которых были созданы революцией, а генеалогия уничтожена.

При нормальном течении событий моим родителям не удалось бы встретиться, зато мне были бы известны биографии бабушек, дедушек, теть и дядей.

К счастью, в Калуге живет моя любимая кузина Светлана, которой суждено еще возникать на этих страницах, так как некоторые фантастические события в жизни нашего семейства я узнал от нее. Светлана по натуре своей хранитель. Жалкие крупицы сведений о роде Можеек она собирает и хранит. Она даже совершала путешествия в поисках родственников и находила их.

Именно от нее я узнал, как мой дедушка в Полоцке добивался руки дворянки Елизаветы Ивановны. Как умер их первенец и бабушка поехала к Иоанну Кронштадтскому за советом и помощью. И Иоанн сказал ей, чтобы она не отчаивалась, потому что через год у нее родится мальчик. Через год родился мой отец. Это было уже в Петербурге.

В гражданскую войну они уехали на юг, кажется в Ростов, где и пережили смены властей. Наконец-то установившаяся советская власть деда арестовала, потому что его приняли за избежавшего справедливого возмездия императора Николая.

Какое-то время мой дед просидел в тюрьме, а когда стало наверняка известно, что настоящего Николая все же расстреляли, ему сменили статью и вменили в преступление службу у белых. И это было правдой, потому что дед служил бухгалтером при всех режимах.

Мой партийный отец боялся встречаться с дедом. Старики жили в Таганроге, и в немногие приезды деда в Москву встречала его мама. Дед умер в середине тридцатых годов, а бабушка переехала в Москву, и я даже смутно помню ее. Она дожила до войны.

Раз у меня есть кузина Светлана, значит, у папы была сестра.

Ее звали Ксения. Все говорили, что тетя Ксения очень красивая.

По мне, она красивой не выглядела, так как была очень толстой и всегда жевала.

Они с отцом были похожи — толстые узколицые блондины высокого роста.

Папа был частью сумасшедшего мира, но ничем в том мире не выделялся. А вот от тети Ксении шла такая фантастика — социальная, конечно, — что мне бы ничего подобного не придумать.

Толстая красивая тетя Ксения вышла замуж за комбрига Воронова. А у комбрига Воронова было два брата комбрига, и тоже Вороновы. Ксения родила комбригу Воронову дочь Светлану.

Тогда Светлана было имя знаковое, им девочка как бы мистически приобщалась к семье Сталина, А в тридцать седьмом тетя Ксеня, такая же красивая и еще более толстая, приехала в дом отдыха РККА на Черном море, где е. е увидел и безумно полюбил Петр Сикорский. Лейтенант, летчик. Племянник сбежавшего в САСШ (Соединенные Штаты Северной Америки) конструктора самолета «Илья Муромец» и изобретателя геликоптера. И он не боялся этого родства и не скрывал его.

Тетя Ксеня полюбила отважного пилота.

Они гуляли под большими крымскими звездами и говорили о возвышенном. Но расстаться с комбригом тетя Ксеня не пожелала.

Тогда, вернувшись в часть, молодой пилот стал думать, как ему добыть возлюбленную. Кстати, фамилия его была не Сикорский, а скажем, Василенко, и был он не пилотом, а проходил по хозяйственной части.

Петя псевдо-Сикорский нашел способ пробиться к сердцу Джульетты.

Он написал письмо в соответствующие органы, сообщив, что три брата Воронова устроили заговор на немецкие деньги. И так далее. Как и положено. Братьев взяли и расстреляли, Светлана осталась сиротой, а тетя Ксеня безутешной вдовой без средств к существованию. И тогда приехал Петя Сикорский и утешил женщину. Тогда он не стал говорить ей о том, на что его толкнула безумная любовь. Это он расскажет уже после войны.

Медовый месяц супруги Василенки провели в воинской части, а в сороковом году завоевали Прибалтику.

Вот тогда я их первый раз увидел.

У Василенок был такой обычай: если они были на коне и при добыче, то они останавливались у папы, который к тому времени покинул нас с мамой, а если судьба прогибалась вниз, то они жили у нас. Но это в будущем. А сейчас я только скажу о первом впечатлении от дяди Пети: у него была белая коротко стриженная голова и блестящие скрипучие сапоги. Завоевание Прибалтики для меня обернулось радостью — Василенки привезли оттуда много конфет в ярких фантиках и мне несколько штук досталось.

Сделав отступление о тете Ксене и дяде Пете, я вернусь к ним, и не раз, в дальнейшем, чтобы подтвердить тезис Максима Горького (если я его правильно запомнил): «Всем плохим во мне я обязан людям».

Сейчас же пришла пора вспомнить о моих родителях.

Дедушка висел на ногах юноши Всеволода Николаевича Можейко как тяжкие вериги. Из такой семьи в полет не вырвешься.

Поэтому неудивительно, что мой папа решил стать пролетарием, Для этого в пятнадцать лет формально ушел из дома, устроился учеником на завод и перевелся из школы в рабфак.

В 1922 году в возрасте 17 лет отец прибыл в Петербург (это не описка был период при советской власти, когда Петрограду временно вернули довоенное название). У папы была хорошая пролетарская биография. Он поступил в университет на юридический факультет, а заодно стал деятелем в профсоюзе.

Охраняя права работниц, он бывал на фабрике американского капиталиста Хаммера, где делали карандаши и пуговицы. Там он и встретился с молоденькой пролетаркой Машей Булычевой, тоже сиротой из рабочей семьи.

Мама стала пролетаркой тоже не от хорошей жизни.

Полковник Михаил Булычев, преподаватель фехтования в Первом Кадетском корпусе, а затем воинский начальник в Опочке, умер в 1913 году от аппендицита, и девочку устроили на казенный кошт в Елизаветинский институт благородных девиц. После Октябрьской революции институт демократически слили с кадетским корпусом. Всю зиму 1918 года кадеты и институтки обучались совместно.

Разумеется, должность полковника Булычева и подробности жизни в Елизаветинском институте мама вспомнила только в конце 50-х годов. Весной 1918 года здание института потребовалось революционному учреждению, и кто-то сообразил погрузить всех девочек и мальчиков в теплушки и отправить их на юг, на Кавказ. Поехали все, у кого не было родителей или чьи родители на это согласились. То есть почти все воспитанницы и кадеты. До Кавказа не доехали. Их всех по дороге перебили. Чьих рук это дело — мама не знала.

Маму взяла домой ее мачеха, и они бедствовали вдвоем. В двадцатом мачеха умерла, и мама, перейдя в вечернюю школу, пошла работать на фабрику. Она зарабатывала стаж и классовую сущность. А в свободное время со своими друзьями, в будущем знаменитыми нашими теннисистами, мама выступала спаррингпартнершей на кортах. Она меня уверяла, что хватало не только на хлеб, но и на пирожные. Наступил нэп.

И вот в 1922 году встретились таганрогский слесарь и станочница с фабрики Хаммера. А в 1925 году Всеволод и Маруся поженились.

Мама оставила фабрику, пошла в автодорожный институт и работала одновременно шофером. Папа заканчивал университет и начал работать адвокатом.

Мама окончила автодорожный, а папа как молодой партиец с безупречным сиротским прошлым стал председателем Ленинградской коллегии адвокатов. Ему было тогда 22 года.

Как стать Фантастом Остальные многочисленные адвокаты в нэповском Ленинграде принадлежали к царскому прошлому — народ это был тертый, немолодой, но с амбициями. И сомнительный пролетарий в лице моего папы им не очень нравился.

Вот и роман.

Не фантастический, но социальный и, может быть, исторический. Другими словами, я родился в семье лжецов. Разоблачение было не за горами.

Но пока что моя мать, получившая диплом инженера-механика, решила сделать карьеру и откликнулась на призыв партии укрепить молодыми образованными пролетариями и пролетарками высшие кадры Красной Армии. Она легко поступила в Военную Академию Химической защиты имени товарища Ворошилова и окончила ее весной 1933 года, получив звание военного инженера III ранга.

За годы учебы в академии маму не разоблачили, и она была распределена комендантом Шлиссельбургской крепости.

А вот теперь вы должны согласиться со мной, что наличие мамы коменданта Шлиссельбургской крепости — важный шаг на пути в фантасты.

Как ни горько, но придется признаться в том, что ни Веры Фигнер, ни Морозова, ни жертв большевистского террора в Шлиссельбурге тогда не было, так как он был складом боеприпасов, а моя мама — военным химиком.

Все документы и большинство фотографий тех лет мама уничтожила. Дело в том, что ни один из ее преподавателей, командиров или просто старших товарищей не остался в живых. Их подписи хранить дома было опасно. А где был папа?

А папа в то время покинул Ленинград. Вот почему: в конце двадцатых годов адвокатские зубры, находясь в постоянном конфликте с партийным председателем, стали активно копать под него и искать компромат. С их связями и умениями они в конце концов раскопали дедушку — так называемого Николая II.

А раскопав, соорудили замечательное партийное дело. И моего папу выгнали с работы со строгачом «За сокрытие белогвардейского прошлого отца».

Здорово придумано? Ведь не скушаешь председателя, сообщив, что его папа — император Всероссийский. А тут все на своих местах. Благо любой русский император — обязательно белогвардеец.

Папу вышибли с работы, и он счел за лучшее сбежать в провинцию.

В Саратове трудился в прокуратуре папин соученик по университету. Он пригрел павшего партийного ангела и сделал его письмоводителем.

И что же происходит?

Папа начинает вторую карьеру.

Дело в том, что вокруг летели головы. Шла коллективизация, индустриализация и чистки. А папа — выпускник университета и свой парень.

Кому-то надо работать?

К 1932 году папа стал прокурором города Саратова, а в следующем году главным прокурором Средневолжского края. Ему двадцать семь лет. Но он партиец и пролетарий.

В 1933 году началось очередное истребление партийцев и пролетариев в изголодавшемся Поволжье.

Папе какая-то птичка шепнула, что его утром возьмут. Он не стал возвращаться домой, а сел на проходящий поезд и оказался в Москве. Не знаю, где он жил, но знаю, что к нему для обогрева приезжала комендант Шлиссельбургской крепости Мария Булычева. Я был зачат зимой, а осенью 1934 года родился на свет. К тому времени мама ушла в запас, потому что двери в Шлиссельбурге узкие, не для ее живота. Папа устроился юрисконсультом в артель и начал очередную партийную карьеру. Благо ему и тридцати еще не было.

Случайности и закономерности, намеревавшиеся покончить с моими родителями, накапливались с таким упорством, что щель вероятности, сквозь которую я смог пролезть в октябре 1934 года, сошла практически на нет. Впрочем, мама с папой об этом не очень задумывались.

У нас была комната на Чистых прудах, в Банковском переулке. В нее меня привезли из роддома им. Грауэрмана.

В то время все достойные граждане Москвы рождались в роддоме имени Грауэрмана на Арбатской площади.

Еще недавно сквозь узкие окна третьего этажа роженицы выкликали добрые слова своим мужьям, стоявшим на широком тротуаре. Сейчас в роддоме сидит финансовая структура. И никто уже там не родится.

Потом мне купили красное одеяло. И не зря.

В начале декабря 1934 года состоялся мой первый выход в свет.

Меня завернули в это одеяло и понесли на Мясницкую.

По Мясницкой шла траурная процессия. Хоронили невинно убиенного вождя Сергея Мироновича Кирова. Мама поднимала меня повыше, чтобы я мог разглядеть усатого дядю Сталина, который скорбно шел за гробом.

Долго ли, коротко, к 1939 году папа стал главным арбитром Наркомтяжпрома, затем заместителем Главарбитра Союза и через несколько месяцев написал грозное письмо Молотову (оно у меня хранится памятником папиной находчивости), в котором, сообщая, что Госарбитраж СССР уже полгода обходится без Главного арбитра, настойчиво просил срочно назначить человека на это место, ибо дальше без начальства невозможно, но умолял не рассматривать его кандидатуру, так как он совершенно недостоин этого высокого поста.

Еще через месяц Молотов подписал указ о назначении папы Главным арбитром СССР, и папа надолго воцарился в доме напротив ГУМа, что важно для дальнейшего рассказа.

Тем временем в нашей семье тоже произошли перемены. Папа стал московским светским львом, полюбил бега, актрис и теннис в Гаграх, а мама трудилась на гражданке, химиком в Институте экспериментальной медицины. Папа увлекся начинающей актрисой Галиной Туржанской, красивой, доброй и инертной шляхеткой из Архангельска, которая бросила кино, а папа на ней женился. Мама осталась со мной на руках, но не расстраивалась и через год встретила чудесного человека — Якова Исааковича Бокиника, одессита (точная копия Ильи Ильфа), доктора наук, талантливейшего ученого. Он женился на маме, мы с ним подружились, — родилась моя младшая сестра Наташа, а потом началась война, и дядя Яша в первый же день сбежал рядовым в ополчение. Он прошел всю войну и погиб 8 мая 1945 года, когда мы с мамой уже ждали его домой. К тому времени он был начальником химической службы армии, но на беду знал все европейские языки и ездил допрашивать пленных с редкостными языками. 8 мая в Курляндском котле он поехал допрашивать испанского генерала...

Началась война.

Мне шел седьмой год и я кое-что запомнил. Но урывками и не самое главное.

...Диетический на Арбате, мы пошли с мамой купить продуктов, а на полках ряды консервированного компота, абрикосового. Больше ничего.

Звук воздушной тревоги и сама сирена, она стояла во втором проходном дворе, и в тихие минуты можно было ее потрогать.

Ребята постарше, которые лазили на крышу тушить зажигалки, нас, маленьких, туда не брали. Мы с Петей Ишуганым забрались по лестнице на чердак и даже высовывались на крышу.

Но была середина дня и нам не повезло — ни одного фашиста, ни одной зажигалки. Только вороны.

Есть соблазн сегодня говорить: «Мальчишкой тушил зажигалки, что делать — мы рано взрослели, дети войны!» В середине октября папа устроил нас в теплушку, и мы поехали на Восток.

Папа остался в Москве.

Дальнейшие события он мне описывал так.

Он пришел на прием к Косыгину, который заведовал эвакуацией учреждений, и сказал, что Госарбитражу дали только три вагона и все сотрудники не поместятся. Поэтому он просит разрешить мужчинам остаться в столице и защищать ее с оружием в руках.

На это Косыгин сказал: — Решил к немцам перебежать?

Тут папу взяли и до ночи он сидел под арестом и ждал, когда его расстреляют за попытку переметнуться к фашистам.

Ночью папу отпустили, и он вместе с арбитражем отбыл в Саратов или Куйбышев.

Недоверие коммунистов к коммунистам в середине октября было распространенным явлением.

Мама попала в смертельно опасную ситуацию уже позже.

Мы приплыли в Красный Бор.

В те дни эшелоны и пароходы с эвакуированными тащились на Восток, как ручейки, истончающиеся в песках.

Наполнилась ямка, вода сочится дальше.

Составы тянулись так медленно, что эвакуированные разве что не вымирали от голода.

Как мы не выносим слова «беженцы»! Меня, маленького, гнали на Восток, цивилизованно обозвав эвакуированным. Сотни тысяч чеченцев изгоняют из домов и обзывают временно перемещенными.

Пора уже придумать название, которое полностью бы снимало ответственность с родных властей за судьбу людей, потерявших кров по милости преступников или головотяпов, назвавших себя вождями страны.

Чем не название для короткого фантастического рассказа: «Временно отдыхающее от домашних обязанностей счастливое семейство?» Откуда вы эвакуированы? Мы — из Назарета. А вы? А мы из Каира. А вы? А мы из Минска.

Я стараюсь никогда не отражать в прозе собственные воспоминания или переживания. Неловко.

Но одно воспоминание кошмаром возвращается многие годы.

И я его воссоздал в повести «Чужая память».

Состав теплушек так долго тащился к Волге, что мы привыкли к его полудневным стоянкам в степи.

Вот и в тот день мама взяла нас с Наташкой, подобно прочим несчастным мамашам в поезде, и повела гулять в степь. Там еще сохранилась зеленая трава и даже какие-то цветочки. Мама с двухлетней Наташкой собирали букет, а я гонялся за кузнечиком. А потом оглянулся и увидел, что наш поезд дернулся и медленно двинулся. И только после этого до нас донесся предупреждающий гудок.

Не знаю, не помню, что подвигнуло машиниста совершить такой поступок, но люди, разбредшиеся на сотни метров от полотна, кинулись, подхватывая детей, к поезду.

Мама схватила Наташку — ей ведь не убежать! А мне крикнула, чтобы не отставал.

Я бежал и трясся от ужаса, что поезд уйдет и мы останемся в степи.

Я ненавидел Наташку, потому что мама успеет донести ее до поезда, а меня забудет.

Я догнал маму и стал дергать ее за юбку. Не знаю уж, зачем я ее дергал. Но помню ощущение матери.

Мы успели, может, поезд остановился — не помню.

И поехали дальше.

Составы останавливались в Ульяновске, Куйбышеве, Саратове, некоторые шли к Казани. Там перегружались на пароходы и баржи. И тянулись вверх псКаме.

Мы миновали Чистополь, Елабугу и последними высадились в поселке Красный Бор.

Там был элеватор, и мама стала на нем механиком, вспомнив свое шоферское прошлое. Взяли ее с радостью, потому что уже прошла мобилизация и мужчин с техническим образованием не осталось.

Мы прожили в Красном Бору до зимы.

Запомнилось вот что: сам элеватор, гигантский, полный зерна и добродушный. А еще конь, коричневый — так я его называл, потому что еще не знал, какие бывают у коней масти. Коня я запомнил, потому что его звали Игорем. То есть это был родной мне конь.

А мамин заместитель, хромой парень, которого тоже звали Игорем, как-то сажал меня на коня Игоря. У коня была такая широкая спина, что не было страшно.

В Чистополе из потока эвакуации выпал Союз писателей. По крайней мере его часть. Там жили мамины приятельницы, из писательских жен. Они стали звать маму в Чистополь, все же настоящий город и свои вокруг, а то как ты, Муся, с двумя детьми? Даже покормить их некому.

Река уже встала, когда мы приехали в большой город Чистополь.

Когда тебе семь лет, то быстро привыкаешь к новым масштабам. Чистополь показался мне очень большим городом. Я ходил смотреть на пятиэтажный дом, в котором раньше была гимназия.

В Чистополе, в отличие от многих писателей, мы сначала жили хорошо, потому что маму сделали начальником воздушнодесантной школы.

Мама снова надела военную форму, а у нас в сенях стоял пулемет. Как приятно было лежать у него, целиться в ворон на дворе и мысленно тысячами косить проклятых фашистов!

И вот тут мы узнали, что смерть опять коснулась мамы, но промчалась мимо.

Через месяц после нашего отъезда из Красного Бора гигантский элеватор сгорел.

Неизвестно отчего.

Но по законам того времени всех работников элеватора и того хромого парня Игоря — всех расстреляли.

И маму бы расстреляли, если бы Лиза Крон ее не перетащила в Чистополь.

Тут я и заболел.

Заболел серьезно. Врачи называли мои болезни, и я запоминал названия. Дети тоже хотят жить и боятся страшных слов. А для меня страшными словами были ревмокардит, эндокардит и миокардит.

Полгода я лежал в постели. Мне нельзя было подниматься.

Мама с утра уходила на службу, а у постели оставатась Наташка, которой и трех лет не было. И это серьезное чернокудрое создание било меня кулачком, если я хотел подняться.

Пулемет стоял без хозяина.

Впрочем, весной маму хоть и не арестовали, но выгнали из военных.

Случился выпуск в ее школе. И выпускники — может, кто из писателей помнит об этом — ведь среди курсантов были и писательские дети — пошли в военкомат, оформлять документы. Там был большой пыльный двор, в углу двора лежала бомба. Почему ее туда привезли — не знаю, может, даже с гражданской войны осталась — тогда под Чистополем шли бои.

Юные десантники стали разряжать бомбу. В живых остался только парень, который отлучился в сортир.

К счастью, маму оправдали. И тут папа прислал нам вызов в Москву.

Наверное, это было летом.

Меня надо было лечить, а жизнь в Чистополе стала скудной и трудной.

Господи, думаю я теперь — маме было тридцать пять лет.

Двое детишек на руках, один серьезно болен, другая совсем малыш. Работа с утра до вечера...

И к осени 1942 года мы вернулись в Москву.

Пожалуй, одними из первых эвакуированных. В то время вернуться в Москву было очень трудно.

К осени я настолько оправился, что смог пойти в школу.

К осени же я научился читать. Весьма поздно. Я все делаю с опозданием.

Первые книги, которые я прочел, заключали в себе фантастический элемент. Это я сегодня знаю, что они фантастические.

Тогда и не подозревал. «Доктор Айболит» — фантастический триллер, «Домино» Сеттона-Томпсона — фэнтези из жизни животных. А потом мама принесла «Приключения Карика и Вали».

Наверняка между ними мне всучали книжки, которые полезно читать, но я о них ничего не запомнил.

Мы вернулись в свою квартиру на Сивцевом Вражке. Ее папа получил в тридцать девятом году, квартира была трехкомнатной, на бельэтаже, а когда папа развелся с мамой, он оставил нам квартиру, при условии, что в одну из комнат вселится его сотрудник дядя Саша Соколов. Так наша квартира стала полукоммунальной. Но не настоящей коммуналкой, потому что дядя Саша был нашим другом.

В сентябре 1942 года, восьми лет от роду я пошел в первый класс 59-й средней школы в Староконюшенном переулке. Мы все в классе были переростками — зиму сорок первого пропустили. Школа была великолепная, бывшая Медведниковская гимназия, в ней еще доживали свой век настоящие старые учителя, там был физкультурный зал во весь последний этаж, актовый зал с потолком в небесах и такая же громадная библиотека, где хранилась энциклопедия Брокгауза и Ефрона. В историческом кабинете стоял макет дворца Алексея Михайловича в Коломенском — два на два метра; физическая аудитория была сделана, как в университете, амфитеатром...

Недавно я побывал в школе на ее 95-й годовщине.

Никто не мог мне сказать, кому мешал макет дворца и почему его выкинули, почему стены закалякали бездарными фресками из коммунистического будущего и кому мешал чудесный пришкольный сад, который выкорчевали, закатали асфальтом, чтобы ни одна травка не пролезла, и превратили в автостоянку.

А мы учили биологию и ботанику в том саду...

Я плохо помню зимы — в памяти остались летние каникулы.

Именно тогда и случались события, приключения и встречи.

Может быть, так происходило потому, что я был средним и ленивым учеником, и моя жизнь начиналась, когда я приходил из школы.

Особой склонности к писательской деятельности я не проявлял, хотя журналистикой весьма интересовался, в четырнадцать лет начал издавать журнал и в школе числился на постоянной должности редактора стенгазеты.

Мой следующий шаг к фантастике я сделал вскоре после войны. Мы жили тогда на даче в Соколовке, по Ярославской дороге.

Дача была большая, старая, серая, скрипучая.

Половина принадлежала маминому третьему мужу, Льву Михайловичу Антонову, бывшему начальнику бронетанковых сил Сибири, затем торгпреду в Италии, а потом — сидельцу. К тому времени, когда вальяжный и надутый Лев Михайлович появился в нашем доме, он работал начальником цеха на шинном заводе.

У него была дача в Соколовке. Участок был большой и пустой.

Почти напротив дачи начинался лес, дорожка на культбазу, где был двойной пруд, темный, лесной, неглубокий, но купаться мы ходили дальше. В Сирково на карьеры. Они всегда горели — дымок вырывался из-под черных щупальцев сгоревшей травы. Там были славные карьеры для купания, а потом дорога через бесконечное поле на Воронец и даже на Щелково, где оказался книжный магазин, в котором продавались книги, вызывавшие во мне физиологический трепет. Книги, к счастью, были дешевые, и мама давала мне на них денег. Я купил роман Жоржи Амаду и наслаждался им как предметом: переплетом, страницами — это была мальчиковая сексуальность.

На даче было много веселых приключений.

Мама нашла няню, Павлу Афанасьевну, вдову какого-то киномагната, репрессированного и покойного. Это была невероятно ленивая и нечистоплотная женщина. Как мы с Наташкой не померли с голоду, один черт знает. Мама удивлялась, почему мы худеем, на что Павла Афанасьевна, худая и маленькая, утверждала, что на нас действует свежий воздух.

На самом деле все пожирала ее дочка Тамарка с сыном. Дочка, как говорили, только что вернулась из лагеря и отдыхала на нашей даче.

Они не только все ели, но и уничтожали плоды маминых отважных начинаний.

В первое лето мама развела клубнику, и на следующий год шесть длинных грядок, на которых мама заставляла и нас трудиться, дали великолепный урожай.

С раннего утра Тамарка с Павлой Афанасьевной забирались на грядки и набирали корзины на рынок. Тамарка уходила, а Павла Афанасьевна доказывала нам с Наташкой, что доносить родителям на бедных друзей позорно. Мы ей верили.

От Тамарки, высокой и худой, плохо пахло, ее ребеночек лет шести все время ныл и плакал, так что все, кто проходил мимо, затыкали ему рот едой. Он непрестанно жевал. Или рыдал. Или визжал.

Мама не могла понять, почему клубника не уродилась, мы ее жалели. Павла Афанасьевна жаловалась, какие мы с Наташкой прожорливые.

Зато именно в то лето я увидел настоящего писателя и влюбился в процесс писательской работы.

Писатель жил на соседней даче, я дружил с его сыном. Писателя звали Николай Панов. Он написал книгу «Боцман с „Тумана“ о Северном флоте, где он был во время войны. Сын писателя под страшным секретом принес мне плоды папиной сомнительной молодости. Оказывается, писатель Панов в двадцатые годы был левым поэтом Диром Туманным и даже входил в какие-то объединения, но для меня самое главное заключалось в выпусках — тонкие выпуски (потом я увидел такие же — шагиняновского „Месс-Менд») романа приключении с продолжением.

Это было чудо!

Выпуски назывались «Дети Желтого дракона», и речь в них шла о невероятных приключениях на фоне борьбы китайских триад. Совершенно не помню содержания повести Дира Туманного, но когда сам Панов шел с нами, мальчишками, гулять в лес, он был очень обыкновенным, мирным и даже скучноватым человеком, забывшим о детях Желтого дракона. Иногда он останавливался, присаживался на пень, доставал записную книжку и заносил в нее мысли. Сын Панова спокойно уходил вперед, совершенно не понимая того, что Бог дал ему в папы настоящего писателя, а он относится к нему, как к обыкновенному человеку.

Я до сих пор не отказываюсь от мечты завести записную книжку.

Определенная мистика ситуации заключалась в том, что Дир Туманный в 1925 году опубликовал самый настоящий фантастический роман «Всадники ветра» — о межпланетном путешествии.

То есть я гулял по лесу и собирал опята не просто с писателем, а самым настоящим фантастом!

Более того, у него был псевдоним — имя из трех букв. ДИР!

Знал ли я, что через двадцать лет выберу имя КИР?

Наконец, совсем уж недавно, разбирая в Екатеринбурге библиотеку замечательного библиографа Виталия Бугрова, я натолкнулся на книжечку приложение к «Огоньку» за 1937 год.

Называлась она так: «Стихи и новеллы» Николая Панова.

И лицо на обложке было знакомое, в очках. Только молодое.

Сами понимаете, что можно ждать от посредственного поэта в 1937 году! Но среди опусов, посвященных будущей войне и товарищу Сталину, есть стихотворение (видно, его и именовали новеллой составители книжечки) «В будущей Москве».

Это оптимистическая, социалистическая, утопическая фантастика. Но ближнего прицела... Не сбывшегося. Сбившегося: Как Эльбрус

Из мрамора, стали и света

Как будто взметнувшийся белый костер,

Московская гордость — Дворец Советов

Над зданьями руку вождя простер.

Хочется привести и еще одну краткую цитату: Вчера на заводе мне в премию дали Для телевиденья аппарат.

Я долго об этой конструкции грезил...

Где-то в классе пятом-шестом мне сказочно повезло. Мое приобщение к фантастике пошло быстрыми шагами. Мама отыскала на Арбатской площади библиотеку Красного Креста, которую почему-то не захватили цензурные чистки последних лет.

В библиотеке мама брала потрепанные и совершенно недостижимые в ту пору тома Луи Буссенара, Жаколио и даже Бенуа.

В двенадцать лет я прочел «Атлантиду» Бенуа, и она вышибла из моего сознания первого и доступного кумира — Александра Беляева. А вскоре мне попались две книжки другого Беляева, Сергея. «Десятая планета» и, главное, «Приключения Сэмуэля Пингля». Тут-то я понял, насколько Сергей Беляев был выше классом, чем наш любимый авторитет Александр.

Затем Сергея Беляева сдвинули с первого места в моем сознании Алексей Толстой и Иван Ефремов. Я полюбил новеллы Ефремова конца войны и первых послевоенных лет. Я до сих пор храню эти книжки в бумажных обложках. Особенно «Пять румбов».

Затем случилось вот что: я был с визитом у папы. Папа разрешил мне покопаться в его книжном шкафу, где он держал книги, полученные в распределителе.

Там мне попалась книжка в голубой обложке, с парусником на ней. Называлась она «Бегущая по волнам».

Почему-то случайно один роман Грина был издан вскоре после войны.

Я был потрясен этой книгой. Я и до сих пор потрясен этой книгой. Я ее читаю раз в год.

Я догадался тогда, что этот самый Грин написал не только «Бегущую по волнам». Но что — не мог никак узнать, пока его не принялись громить в журналах и газетах как вождя космополитов, к счастью для него, давно усопшего.

Я узнал о Грине много плохого из статьей Заславского и других зубодробителей. Но потом за него вступился Паустовский, и Грина начали допускать до наших читателей.

Конечно же, о писателях Булгакове, Замятине, Оруэлле, Хаксли, Кафке, Платонове я не подозревал. А вот Чапек мне попался, и я на много лет стал его поклонником. Вот кончу писать этот «отчет» и открою снова «Кракатит». Не читали? А это гениальная (на мой взгляд) фантастическая книга.

Значительно позже, но об этом хочется сказать, я открыл волшебную «Крышу мира» Мстиславского. Мне дала ее почитать Светлана Янина, жена великого нашего археолога, открывателя новгородских грамот. Это было еще тогда, когда Мстиславский был известен лишь как автор революционного романа «Грач — птица весенняя», а ведь был одним из эсеровских вождей, а «Крыша мира» — единственный русский колониальный фантастический роман.

Точно помню обстоятельства создания первого в моей жизни художественного произведения. Это была поэма.

Иные великие поэты пишут первые строчки, потому что влюбляются в сверстницу или ее тетю. Меня же подвигнули на творчество гланды.

На излете тринадцатого года во избежание частых ангин, которые плохо влияли на сердце, мне велели вырезать гланды. Это была самая настоящая операция, я лежал в хирургическом отделении, один в палате, ждал утра и смерти под ножом хирурга.

Вам-то смешно, а мне смешно не было.

Я не мог спать. И вдруг в разгаре ночи я сообразил — есть способ спастись от безвестности! Надо создать нечто гениальное.

Получилась короткая, недописанная (заснул все-таки!) сказка. Весьма напоминавшая размером и отношением к героям «Руслана и Людмилу». Только она была хуже написана, чем «Руслан и Людмила».

Больше я ничего о поэме не помню.

Как писал — помню, как трепетал — помню, а о чем писал — не помню.

Гланды мне вырезали — это было больно и отвратительно. Я ждал, что после операции меня будут кормить только мороженым (легенда, бытовавшая среди моих сверстников), но меня кормили кашей и бульоном.

Тогда я попросил, чтобы мама принесла бумагу и карандаши.

И решил стать художником. Я сидел перед окном и рисовал все, что видел.

С тех пор и по сей день я мечтаю стать художником. Я уверен, что из меня получился бы приличный, но не великий художник и я был бы счастлив. Но судьба, улыбнувшись мне, отвернула взор.

Выйдя из больницы, я стал просить маму отдать меня в художественную школу. Мама подумала и согласилась со мной, потому что пребывала в убеждении, что интеллигентных детей надо чему-то учить вне школы. До этого мама купила кабинетный рояль, который занял ровно половину комнаты, и мы теснились вокруг. К нам ходила три раза в неделю добрая бабушка, и мы играли гаммы. Потом Гедике. Дальше хроматической гаммы я не двинулся. Каждое утро я просыпался в надежде на то, что добрая бабушка попадет под трамвай. Она ни разу не попала под трамвай. А через год бабушка, хоть ей очень были нужны деньги, сказала маме, что не надо идти на материальные жертвы и учить меня тому, к чему я не расположен.

А вот в художественную школу у метро «Парк культуры» я ходил с наслаждением. Я даже запахи художественной школы обожал. Я учился целый год, окончил первый класс, а потом мама достала мне путевку в Кисловодск в сердечный санаторий для детей.

Путевка была на сентябрь. Нас кормили салом и отварной свеклой — до сих пор страшно вспомнить! Зато можно было купаться в щекотных нарзанных ваннах, и по вечерам нас учили бальным танцам. Я танцевал па-де-грас и па-де-патинер со Светой Асмоловой и влюбился в нее. А потом в кино поцеловал ее в щеку, и она не обиделась. На этом роман кончился. Потому что у нас, санаторских, развязался конфликт с детдомовцами. Они пришли нас бить, а мы вытащили железные прутья, которыми на парадной лестнице санатория придерживался ковер. Против их палок и уверенности в себе было оружие следующего поколения.

Детдомовцы ушли.

Ничья.

Через несколько лет судьба снова выкинула кости — на этот раз сплошные шестерки, потому что я увидел самого настоящего Александра Казанцева.

Мне было лет пятнадцать-шестнадцать. Класс восьмой.

Мама снова достала путевку, на этот раз в горный спортивный лагерь в Осетии, в Цейском ущелье. Это был чудесный месяц — мы поднимались на вершины, торчали в языческом святилище осетин, бродили по горному лесу, между камней поблескивала почти черная листва рододендронов. Мы жили очень дружно — москвичи и осетины. А потом взбунтовались. В защиту справедливости. И на ночь глядя ушли из лагеря, в лес. Девушки остались, потому что в лесу холодно, до нуля, а мы выдержали ночь и победили лагерное начальство. У меня была буханка хлеба вместо подушки — так холодно мне не бывало более никогда. Кстати, там я научился курить. Человек с сигаретой мог считать себя почти настоящим мужчиной.

С тех пор я курил сорок лет и даже не собирался бросать, хоть к старости заработал хронический бронхит и полностью потерял обоняние. Но две пачки «Примы» в день — норма.

Только когда у меня случился инфаркт и доктор сказал мне: «Можете курить и дальше, но гарантирую — через год вы у меня снова», — я струсил. Нет, не головой струсил, а внутренностями.

Вышел из больницы и не захотел больше курить.

А начал в Цейском ущелье на Кавказе.

Там я подружился с Олегом Казанцевым, сыном писателя.

Олег не бравировал отцом, я узнал об этом только той холодной ночью, когда мы дрожали, уткнувшись затылками в черствые буханки.

Но когда мы вернулись в Москву, я раз был у него дома.

Мне теперь кажется, что я видел самого Казанцева и был он похож на свои портреты. А может, Казанцева в том доме и не было, но мне всю жизнь кажется, что я его увидел, а он меня благословил. Что совсем уж невероятно, потому что я тогда не подозревал о своем писательском будущем.

Кроме трагедийной ночи перед операцией по удалению гланд, знаком, указывающим на мое будущее, стали события в чулане.

В конце нашего коридора была тесная комната, или чулан.

Дядя Саша, наш сосед, не возражал, мама разрешила мне перетащить туда диванчик из большой комнаты и там стала наша секретная, таинственная комната. Нас было четверо — самый талантливый, добрый и яркий Эрик Ангаров, человек, рожденный поэтом. Леня Седов, Феля Французов и я. Когда нам стало по пятнадцати, то Наташке, моей сестре, исполнилось одиннадцать и она от нас не отставала. А когда мы стали издавать журнал «Ковчег» Общества единомышленников, Наташка писала в него стихи: Г, «Наша Москва, как хороша!

Большие дома упираются в небеса...» Феликс написал целую поэму, в конце которой он подводил итог своей неудавшейся жизни: «Так жизнь прошла, без смысла и без толку.

Уж шестьдесят, а где же в жизни след?» Такой горький итог стал возможен только потому, что лирический герой Фели растратил жизнь в развлечениях:

«А в тридцать уж на девушек не смотришь,

По женщинам пошел — им силы отдаешь...

И к сорока для радостей умрешь».

Недавно кто-то из друзей увидел чудом сохранившийся первый номер «Ковчега» и сказал с некоторым удивлением:

— Странно, что вас не посадили.

А посадить нас не могли, потому что среди нас не было доносчиков. Павлик Морозов родился в другой деревне.

Жестокое испытание выпало на долю «Ковчега», когда в него была кооптирована Света Шкурченко. Мы с Эриком в нее влюбились и не представляли, что делать потом. Мы стали писать дневники и показывать друг другу. Света об этом не знала. И вскоре вышла из «Ковчега», полная презрения к нам с Эриком: мы гуляли с ней по Гоголевскому бульвару, и Света села на лавочку, а мы отошли за зеленый ящик для старой листвы, достали сигареты «Друг» и закурили. До этого мы не смели и заикнуться о таком сладком пороке.

Куря, мы вернулись к Светке.

Она поднялась, посмотрела на нас по очереди.

Вежливо попрощалась и ушла.

Жизнь несколько раз примеривалась ко мне, рассуждая, кем бы меня сделать.

Сам-то я хотел одного — стать художником.

Но поездка в кисловодский санаторий и увлечение па-деграсом не прошли бесследно. Когда возвратился я в Москву, школа уже месяц как начала занятия. В обычной школе, в 59-й все было просто. Образование у нас обязательное. А вот в художественную школу я не посмел пойти. Постеснялся, что меня будут ругать и, может, даже смеяться надо мной.

Я робко попросил маму, чтобы она отвела меня в школу.

Мама в тот вечер была смертельно усталой, она пришла с двух работ, и еще надо было нас покормить и постирать, и приготовить еду на завтра. Ей было лет сорок пять, в конце концов, не старая женщина — а она успевала поспать пять часов и мчалась зарабатывать нам с Наташкой на жизнь. Двое детей и оба без отцов.

А что мы с Наташкой понимали? Росли и требовали: «Еще!» Вечером мама брала работу на дом — раскрашивала шелковые платки или диапозитивы для поликлиничных коридоров.

Папа немного помогал нам.

Именно с папиной помощью связан единственный мой в жизни обморок.

В войну папа отдавал нам часть литерной карточки — литера «Б».

Магазин для вельмож второго сорта находился на площади Дзержинского, в самом начале улицы 25-го октября, как бы по левую руку от метро. Он и сейчас там стоит.

И даже не очень изменился с тех пор.

Мама покупала там смалец и сахар — нужные вещи. Но иногда она брала меня с собой. И пока она стояла в небольших и сдержанно вежливых очередях из жен ответственных товарищей, которые не должны были испытывать в войну неудобств, я имел право ходить от витрины к витрине.

И однажды не выдержал и приклеился к витрине с пирожными.

В сорок третьем году на площади Дзержинского в магазине с зашторенными окнами была целая витрина пирожных. А дальше шли шоколадные наборы.

Конечно, я не мог просить маму, чтобы она купила мне пирожное, потому что ей доставалась лишь небольшая часть папиного литера.

А я стоял, смотрел, и во мне росло желание сожрать это пирожное. Был бы посильнее — разбил бы витрину...

Я грохнулся в обморок.

Меня отпоили, а мама на обратном пути все повторяла, что она боялась, а вдруг там, эти люди, подумают, что у меня обморок — голодный! Но ведь это неправда! Мои дети не голодают.

Конечно, мы не голодали и даже могли отказываться от нелюбимых вещей. Я, например, не выносил суфле. Объяснить, что это такое, почти невозможно скорее всего это было подслащенное соевое молоко. И кокосовое масло, которое иногда давали по карточкам. Зато не было в мире ничего вкуснее американской консервированной колбасы.

А в школе давали пирожки с повидлом. И чай.

Другим было хуже. Но кушать хотелось всегда.

Как я уже говорил, мой папа стал советским вельможей военного времени, которые знали вкус в жизни, ездили на бега и в рестораны, общались с теневыми магнатами — они уже были. Я помню одного из них. У него был магазин «Спартак» как раз под папиной конторой — на улице 25-го октября. Если не ошибаюсь, фамилия этого жизнерадостного толстяка была Маас или Маар.

Богатыми в те. послевоенные дни были и тетя Ксеня с дядей Петей.

Они остановились в новой папиной квартире на улице Воровского. К тому времени у них уже появились первые свои дети.

Двое или трое.

Папа позвал меня к себе, и я поднялся по роскошной лестнице, дверь мне открыл мой младший брат Сергей, у которого глаза сверкали от удивительного зрелища.

Он провел меня к двери на кухню.

Кухня была узкой и длинной, метров семь-восемь длиной — это точно.

В одном конце кухни стоял дядя Петя, в галифе, майке и сапогах. Мне кажется, он никогда в жизни не снимал этих сверкающих сапог.

В другом конце кухни стояла тетя Ксеня.

У каждого под рукой был ящик.

Они вынимали из ящика чашки, тарелки и метали друг в дружку. Пол был устлан разноцветными осколками.

Как я понимаю, эта посуда была привезена ими из Прибалтики, которую они умудрились освободить второй раз за пять лет.

Вскоре семейство разорилось, дядя Петя уехал служить в Польшу, а тетя Ксеня с детьми осталась куковать в Калуге, где трудилась в сети общественного питания, чтобы кушать пирожки.

И тут началась невероятная трагедия.

Если не стать фантастом после того, как ее узнаешь, то, значит, ты недостоин жить в стране Советов.

Дядя Петя в чине полковника и в звании специалиста-хозяйственника убыл по службе в Варшаву.

И там совершенно случайно влюбился в пани Ожидовскую, как говорит Светлана, вдову директора Польского банка.

Русский полковник осыпал пани цветами и продовольственными товарами.

Все были счастливы.

Кроме тети Ксени, которая решила соединиться со своим мужем, от которого долго ничего не получала — ни вестей, ни аттестата.

И вот она снова приехала в Москву.

И остановилась у нас.

Тетю Ксеню сопровождали трое малых детей и подросток Светлана. У нас в квартире было еще двое детей — Наташка и я.

И все голодные.

Мама решила нас побаловать и купила развесного киселя — порошка странного сиреневого цвета.

Тетя Ксеня вызвалась его сварить, и мама выдала ей пакет с сахаром, потому что мы только что отоварились и сахара дома был целый пакет.

Тетя Ксеня варила кисель, размешивала его поварешкой, пела украинскую песню и подсыпала, и подсыпала сахар.

Потом кисель сварился, тетя Ксеня попробовала его и ахнула — бывает же так! Она перепутала сахар с солью и насыпала в кисель пакет соли. Которая тоже была дефицитным товаром.

Представьте себе — кисель ведь был сам по себе кисло-сладким, а соли, было много.

Вкус киселя стал астрономически отвратительным.

Его не смог есть никто из нас.

И я вижу такую сцену: мы, дети, все вшестером, теснимся в двери кухоньки и смотрим на тетю Ксеню. Она сидит на голубой табуретке. На коленях — кастрюля с киселем, в руке поварешка, она черпает поварешкой соленый кисель и заглатывает его. И при том горько плачет — слезы капают со щек. И понятно — ничего отвратительнее киселя представить невозможно.

Пробиться в Варшаву было невозможно.

Но тетя Ксеня боролась за свое счастье. Теперь она его не отпустит!

Верьте — не верьте, но волоча на поводках и веревках своих детей, тетя Ксения дошла до дедушки Калинина, всероссийского старосты. Добрый дедушка Калинин был потрясен, увидев такую мать и такое горе. Он лично вытирал слюни и сопли Ксениных отпрысков и выдал ей документы на медсестру в отпуске, мандат под своей подписью и форму медсестры, почти по размеру.

Затем тете выдали купе в пассажирском поезде, и она как град свалилась на голову влюбленному Пете.

Но делать нечего. Начальство информировано.

Дядя Петя сделал вид, что смирился, но сам тайком бегал от жены под вагонами, чтобы сбить ее со следа, садился в пригородный поезд и мчал к пани Ожидовской.

Тетя Ксеня не выдержала.

Тетя Ксеня выследила его под вагонами и написала куда следует.

Дядю Петю, сердитого на свою прекрасную жену, выслали из Польши и отправили во Львов. Там он и осел на год или два.

Но любовь не утихла.

В сорок девятом году третья папина карьера катастрофически завершилась.

Шла борьба с сионизмом.

Все заместители папы и большинство арбитров были евреями.

Был проведен обыск в конторе, окна которой выходили на Мавзолей. И в подвале, как потом говорил один из папиных друзей, пострадавших на этом, нашли «дежурную лопату». Этой лопатой евреи-арбитры копали подкоп под Кремль, чтобы убить товарища Сталина.

Всех заговорщиков арестовали, а папу сняли с работы и выгнали из партии за утрату бдительности.

И стал мой папа преподавать «государство и право». К концу жизни даже защитил, наконец, докторскую и вызвал меня, чтобы я встречал на вокзале приехавших к нему из других городов оппонентов (это было связано с очередными интригами в мире юристов); я нес их чемоданы, а папа говорил: «Вот мой сын Игорь, кандидат наук».

В то время я уже начал писать фантастику, но этот вид творчества выходил за пределы воображения папы, он так и не догадался, что я почти настоящий писатель.

Он был высоким, полным, могучим мужчиной с глубоким басом, который я не смог унаследовать. Он любил застольные песни. Вставал и пел басом: «Как бы мне добиться чести, на Путивле князем сести». У него всегда были молодые любовницы, хоть он износился, поиздержался и жил последние годы в бедности. У него в квартире были самые дорогие и шикарные вещи — приемник «телефункен», мебель, одежда, — но все было приобретено до 1949 года. В прошлом даже осталась машина «хорьх» — жуткой длины, которая принадлежала раньше какому-то гитлеровскому партайгеноссе.

Будучи человеком здоровым, но толстым, он любил и умел лечиться. Сначала в Кремлевке, а потом в обычных больницах. Я его и помню-то по больницам. И тетя Галя болела всегда, и мой брат Сергей всегда болел, даже средней школы не окончил. А когда папа заболел в последний раз и уже не смог подняться с дивана, то начался обмен партийных билетов. И тут папа вызвал меня, чтобы я достал ему фотографа на дом.

Он страшно боялся, что ему не дадут нового билета и партия уйдет в будущее без него.

Он всегда был обижен на меня за то, что я не хочу вступать в партию и не люблю Ленина. Но полагал, что с возрастом я исправлюсь.

После смерти папы и последовавшей сразу смерти тети Гали, которая всю жизнь терпела папины эскапады и ждала его на кухне, а жить без него не могла, я разбирался в папином письменном столе. Там обнаружились бумаги о строгом выговоре в Ленинграде, материалы о снятии выговора, анкеты, автобиографии, справки и бесчисленное множество пригласительных билетов на Красную площадь на 7 ноября, на Тушинские воздушные парады, на съезды Советов и партии. И книга «Хозяйственный договор в СССР», написанная на основе докторской диссертации, которую он переписывал четыре раза, так как за те годы по крайней мере четырежды изменилось понятие государственного договора СССР.

Последняя катастрофа плохо отозвалась на нашей жизни.

Как я уже говорил, одну из комнат в нашей квартире после развода с папой отдали его сотруднику дяде Саше Соколову.

Это был мягкий, добрый пьяница, а я перед ним глубоко виноват. На антресолях хранился его сундук с дореволюционными бумагами. Я в него залез. Я вытащил из него грамоты на чины и ордена его предков. Я любовался ими, никому не показывал и намеревался возвратить на место. На грамотах были сургучные печати, заклеенные квадратиками бумаги, сам текст был набран в типографии, но подписи императоров и высоких чинов империи были настоящими можно потрогать.

К дяде Саше ходили друзья — им было лет по двадцать, они пили водку и в трусах бегали по нашему коридору. Потом у некоторых появлялись подружки и эти друзья исчезали.

Дядю Сашу арестовали как раз во времена гонения на папиных заместителей. Я проспал эту трагедию. Проснулся, а мама говорит (вы бы послушали показное спокойствие, с которым произносились такие фразы в бывшие времена): «Игорек, за дядей Сашей ночью пришли».

— За что! — закричал я. У меня еще не было иммунитета.

— Наверное, — придумала мама, — за его связь с молодыми людьми. Ты меня понимаешь?

— Понимаю.

— Честно признаться, я жила в ужасе, — сказала мама. — Мне всегда казалось, что он попытается тебя совратить.

Про корзину на антресолях мама ничего не сказала чекистам. Имела же она права не знать о ней! Но на следующий день позвонила Сашиной сестре, и та увезла плетеный сундук. Положить грамоты обратно я не успел, да и не уверен, что положил бы, будь у меня возможность.

Потому что Оттуда никто не возвращался.

Но когда я через некоторое время полез к себе в ухоронку, чтобы снова провести пальцем по подписи императора Павла, ничего там не оказалось. Мама все вынесла на дальнюю помойку. У нее было хорошо развито воображение.

Я — коллекционер. Все люди делятся на коллекционеров и несобирателей. Это генетическое свойство и оно редко передается по наследству. Девяносто девять процентов коллекционеров — мужчины, лишь один — женщины. И если женщины встречаются среди коллекционеров недорогих вещей, то среди нумизматов их не бывает, потому что ни одна женщина не позволит себе выкинуть большие деньги за кусок металла. Я всегда что-то собирал, сначала марки и спичечные этикетки, потом памятные медали, потом ордена, каски и кивера, эполеты и должностные знаки. Со временем собирательство стало занимать меньшее место, а я предпочитал, писать о знаках или орденах.

О грамотах я тосковал недолго — к ним я был не готов. Но теперь жалею. Очень жалею.

Трагедия России в том, что все предметы памяти — документы, ордена, письма, эполеты, знаки — все это последовательно и непрерывно уничтожалось.

Англичанину этонепонятно, для француза или немца, пережившего весьма тяжкие времена, — нонсенс, когда он узнает, что в нашей стране воевали не только с людьми, но и с вещами.

И еще как воевали!

Гражданская война и революция унесли массу ценных вещей и документов. Затем, что не было уничтожено, вывозилось в эмиграцию.

В двадцатые годы возник Торгсин — «березка» нэповского времени. Туда сдавали золотые вещи — те же ордена, чтобы их переплавили, а сдатчик получал талоны.

А тридцатый год, а год тридцать седьмой и другие годы? А война с фашистами и оккупация половины европейской части страны? А желание продать все, что возможно, в последние годы?

В общем, за орденом Святого Андрея Первозванного лучше сегодня поехать в Париж. Там и купите. Так и делают богатые коллекционеры.

А рукописи, как известно, горят.

Вскоре после ареста дяди Саши его комнату отдали невысокого ранга чекистам — шоферу МГБ и жене Катерине. И началась коммунальная жизнь, в которой маму жутко притесняли и постоянно грозили доносами — соседям хотелось оттяпать всю квартиру, но, на наше счастье, по чину им больше комнаты не полагалось. Наша квартира превратилась в коммуналку худшего типа — с разделом конфорок и криками на кухне. Впрочем, все мои друзья и однокашники жили тогда в коммуналках, и считалось, что у нас еще далеко не худший вариант.

К тому же мы жили в доме 21 в Сивцевом Вражке, в двадцать первой квартире, и она находилась на бельэтаже — то есть окна начинались в двух метрах от земли. Так что с наступлением весны и до поздней осени окно в комнате было открыто, и входили и выходили только через окно, притом обеденный стол весь день был расставлен, чтобы удобнее играть в пинг-понг. Младшая сестра Наташа, родившаяся в 1939 году, всегда была с нами, в нее влюблялись (с поправкой на разницу в возрасте) ребята из нашей мужской школы, а позже ее школа (№ 70, на Гагаринском) стала как бы партнером нашей школы. И мы дружили с тамошними девочками. Честно говоря, это была одна из глупых затей товарища Сталина — разделить мальчиков и девочек. Наверное, вождь вспомнил с тоской, как он учился в семинарии, куда принимали, разумеется, только мальчиков. И ходили они в униформе, как и мы.

В девятом и десятом классах я не сомневался, что пойду в геолого-разведочный институт и стану палеонтологом. В нашем классе учился Володя Русинов, его отец был геологом, и он брал нас с Володей в небольшие походы за ископаемыми. Почему-то я особенно запомнил одну экскурсию — по берегам Пахры. Мы сошли в Горках и целый день шли по берегу реки, в котором встречались глубокие пещеры.

Вернемся в последний раз к дяде Пете.

Во Львове он неплохо устроился. Ни больше ни меньше как начальником тюрьмы. Тетя Ксеня хорошо его кормила и кушала сама.

Родился еще ребенок, а может, два ребенка.

Дядя Петя поддерживал хорошие деловые связи с коллегами из органов, благо в те дни во Львове было чем поживиться.

Польские оккупанты убежали оттуда, оставив много домов, вещей и тайн.

Светлану дядя Петя не выносил, потому что она — дочь врага народа. Он запрещал ей ходить в школу и, чтобы она не нарушала запретов, отнимал обувь. Светлана ходила в школу босиком.

Перепуганные учителя прислали делегацию. Дядя Петя вышел к делегации весь в орденах, скрипя сверкающими сапогами. Он выслушал делегацию у входа, в квартиру и сказал:

— Меры будут приняты, виновные понесут наказание.

Светлану он побил, но без синяков, а ботинки вернул.

Больше того, через некоторое время сказал ей:

— С тобой хоть поговорить можно, а твоя мать за пределами койки интереса для интеллигенции не представляет.

И повел Светлану в одно секретное место.

Секретное место оказалось виллой, реквизированной у приспешника польских империалистов. Каким-то образом дядя Петя ее оттяпал.

В вилле, как запомнила Светлана, была длинная анфилада комнат с высокими потолками. Комнаты было тесно заставлены мебелью, собранной из богатых домов.

— Это дом пани Ожидовской, — сообщил дядя Петя падчерице. — Я ее люблю. Когда мы преодолеем трудности, то обязательно поженимся, для чего мне придется перейти в католичество.

В каждой из комнат дома на видном месте висел портрет пани Ожидовской, метр на два, в золотой раме... увеличенный с паспортной фотографии.

Подготовка к совместному счастью закончилась трагически.

Истосковавшись по пани Ожидовской, дядя Петя пошел на преступление, хотя, конечно же, не считал его таковым.

Он сговорился с пилотами транспортного самолета, которые возили контрабанду в Польшу и обратно, чтобы они взяли его на свидание к пани Ожидовской — сил больше не было терпеть!

Пилоты согласились. Может, даже и бескорыстно, все-таки начальник тюрьмы — не последний человек в послевоенном Львове.

Полетели.

И по закону подлости именно в тот день сменилось начальство, метла, «крыша» — славные пилоты-перехватчики посадили самолет, вытащили из него группу преступников, и все они получили серьезные сроки. Еще бы коллективная измена Родине и похищение сверхсекретного самолета. В общем, статья была расстрельная, и если бы не был дядя Петя начальником тюрьмы, ему бы несдобровать.

Все понимали, что оступился человек, не более того. Хороший человек, свой, столько вместе выпито!

Насколько я знаю, в тюрьме дядя Петя не бедствовал.

Его даже из Львова так и не отправили в какой-нибудь чужой лагерь. Не обидели бывшие друзья.

Зато бедствовала тетя Ксеня и ее дети. Разлюбил ее дядя Петя и не хотел больше о ней заботиться.

Тетя Ксеня перебивалась в сети общественного питания.

Дети росли, Светлана без помех ходила в школу и даже получила среднее образование, чего, как дочь врага народа, не заслужила. А ее московский дядя, с дядей Петей не друживший и его существованием недовольный, помог Светлане с общежитием, и во второй половине сороковых годов моя двоюродная сестра стала учиться на юридическом. Дяде Пете это было обидно. Но куда напишешь из тюрьмы. Как ее остановишь?

В общем, не придал должного внимания судьбе падчерицы, упустил, а когда оказался на свободе, отсидев всего-то года дватри, она упорхнула из-под его могучего крыла.

После тюрьмы пришлось дяде Пете покинуть органы, потерять чины, ордена и соратников. И потянулась его семья на юг, в теплые края, где можно было хорошо устроиться.

Семейство осело в Измаиле.

Жизнь была нелегкая, дядя Петя был ею разочарован.

Во Львов уже не вернешься — вилла пани Ожидовской перешла к кому-то иному, кто оставил золотые рамы, но вырвал из них увеличенные фотографии, да и сама пани исчезла, по слухам — сбежала в Западную Германию. Не повезло дядя Пете в личной жизни.

Когда тетя Ксеня снова забеременела, муж заявил, что этим она намерена лишить его куска хлеба. Он повалил жену на пол и бил ее сапогами по животу, надеясь, что плод вывалится наружу.

Но тетя Ксеня оказалась крепче, чем он надеялся, она выжила и родила очередного, кажется шестого, отпрыска дяди Пети.

Тетя Ксеня решила ему жестоко отомстить за унижения и погубленную жизнь. Она сказала, что напишет куда надо о содержании сундучка, который не тронули при аресте. Сундучка с орденами, конфискованными в тюрьме у предателей Родины.

Дядя Петя опять испугался и понес сундучок к реке Дунай.

Дело было летом, Светлана приехала к матери на каникулы, и смирившийся с ее успехами дядя Петя позвал Светлану с собой.

Они пришли на берег Дуная, и дядя Петя открыл сундучок, полный чужими орденами.

Он вынимал из сундучка орден Ленина, целовал его и говорил:

— Получен мною за подвиги при обороне Сталинграда.

Потом вздыхал и кидал его далеко от берега.

Говорил, целуя следующий орден:

— А это я Днепр форсировал. Жгучий огонь вели фашисты!

И так он перекидал в реку полсотни орденов.

Кончил. Все лицо было в слезах. Сказал Светлане: — Вот до чего враги меня довели.

И не переставал плакать до самого дома.

В те месяцы он начал писать мемуары.

Фантасты, держитесь!

Мемуары назывались «Марш динозавров».

Но читать их Светлане он не давал. И потом, очевидно, увез с собой.

Он просуществовал в Измаиле до середины 50-х годов. Что делал, как жил — не знаю, Светлана не рассказывала. Но, видно, внешне его жизнь текла не очень увлекательно.

И тогда он уехал от тети Ксени навсегда.

Сбежал, унеся с собой последние ценные вещи.

И лишь спустя несколько лет объявился во Львове.

Оказывается, еще из Измаила он списался с бывшей тюремной врачихой, с которой у него был когда-то роман или близость какого-то иного рода. Врачиха согласилась взять его к себе в дом.

Последние сведения о нем Светлана имела в восьмидесятых годах. Он был стар, под восемьдесят, но жил хорошо — у него была ферма, на которой он разводил на продажу боксеров.

Ведь такого конца этой истории не придумать, не так ли?

А может, он и сейчас жив? Ему еще и ста лет нету. Только теперь у него не боксеры, а ротвейлеры и всякие сторожевые псы для львовских миллионеров.

Приезжает на своем джипе с прибамбасами, выходит и скрипит блестящими сапогами.

К нам в школу весной десятого класса пришел человек из райкома комсомола. Нас собрали, и человек из райкома объяснил, что товарищ Сталин приказал организовать специальный факультет для будущих разведчиков. Но называется он скромно: переводческий факультет Иняза. Партия приняла решение направить туда лучших комсомольцев.

Тут мы, лучшие комсомольцы, встали и пошли. Мы одолели обследования, которые были направлены на то, как я понимаю, чтобы на славный шпионский факультет не проникли лица еврейской национальности. Когда остались лишь арийцы, мы сдали экзамены и поступили. Так что Гозенпуд, Аксельрод, Зицер и Зоркий остались за бортом советской разведки, а мы с Леней Седовым попали в ее тенета.

К счастью, вскоре оказалось, что разведке мы не нужны: со смертью Сталина наш факультет сократили вдвое. Как и в школе, я учился на мужском факультете — никуда не мог вырваться из гимназии. Правда, помимо переводческого, на Инязе было пять педагогических женских факультетов.

В институте я жил интересно, но учился посредственно. Теперь я думаю, мне страшно не повезло, что я не стал геологом или палеонтологом, но относительно повезло, раз я выучил по крайней мере один язык.

Учили нас плохо, формально и первобытно. За шесть лет надо бы познать пять языков, а мы кое-как выучили один. Зато ездили в колхоз, занимались туризмом, выпускали устный журнал и многотиражку, играли в собственном театре, а после института разбежались кто куда, и лишь меньшинство осталось переводчиками — большей частью те, кто, соблазнившись относительно большой зарплатой, попали в КГБ или армию.

В те годы я впервые столкнулся наяву как с заграничной фантастикой, так и с фантастикой детской.

Что свидетельствует одновременно о крайне низком уровне моего образования и о черном юморе судьбы, которая вела меня за руку.

Мой друг Леня Седов заявился ко мне со случайно попавшей ему в руки и потрясшей его книгой, которую он решил немедленно перевести. Я прочел книгу, далеко не все понял, но в общем с Леней согласился. Для пробы Леня перевел одно из чудесных стихотворений из этой книги, чтобы доказать нашу высокую квалификацию. Мы пришли в «Детгиз».

Мы поднялись на третий этаж по стандартной серой лестнице, кружившей вокруг сдвоенного лифта, и не помню, к кому из редакторов попали. Только запомнил, что мы долго ждали в конце полутемного коридора, который загибался под прямым углом и утыкался в стену.

Редактор, который (или которая) с нами говорил, был вежлив и не стал поливать нас справедливым презрением. Но объяснил нам, что эта книга Льюиса Кэрролла под названием «Алиса в Стране Чудес» написана еще до революции и в России уже издавалась. Только в последние годы о ней забыли настолько, что даже студенты языкового вуза не имеют представления о знаменитом английском писателе. И вряд ли нам удастся справиться с переводом, когда новый перевод понадобится, а он наверняка понадобится.

Нам было стыдно, но не настолько, насколько следовало, и мы продолжили наши переводческие потуги, тем более что на четвертом курсе катастрофически не хватало стипендии. Мама продолжала трудиться на двух работах, но достаток нам только снился. Мама позволяла мне оставлять стипендию себе, и я эгоистически этим разрешением пользовался.

Не помню уж кто — Леня или я — отыскал рассказ писателя Артура Кларка «Пацифист» о роботе, который не хотел участвовать в гонке вооружений. Этого писателя мы с Леней тоже не знали, но рассказ смело перевели, будучи уверены, что, в отличие от Кэрролла, он наш современник, а американской или английской фантастики тогда еще не переводили. Рассказ мы отнесли в журнал «Знание — сила», и там его напечатали. Еще один шажок к фантастике случился через полтора года, когда я летел в Бирму. Самолет приземлился в Пекине. Мы ждали пересадки на Куньминь. На столике лежали китайские журналы, я принялся листать один их них и увидел вдруг иллюстрации из «Знания — силы». Я спросил кого-то из китайцев, — кто знал русский, что иллюстрируют эти картинки. И тот сказал, что это перевод с русского, фантастический рассказ «Пацифист», который написали Игорь Можейко и Леонид Седов.

Так я формально стал писателем-фантастом.

На курсе нас было шестеро женатых. Я сам женился ранней весной на студентке-архитекторше Кире Сошинской. Мы познакомились за год до этого, когда я увидел ее на вечеринке у общего знакомого; вошел с опозданием, Кира стояла у стены — помню платье с большими карманами, — и я впервые в жизни подумал: я на этой девушке женюсь. А ведь до этого были романы, драмы, но такой мысли не возникало. Мне очень не хотелось жениться.

Летом Кира уехала к бабушке в Симферополь, ее отец был крымчанином, грекополяком, а у бабушки был одноэтажный, вросший в землю, махонький беленый домик. Я работал с делегацией лесоводов — такая у меня выдалась практика. Наш долгий маршрут проходил через Крым. Но мы задержались, и в назначенный день я в Симферополь не приехал. Кира уехала в Алушту, оставив мне на почтамте прискорбную записку до востребования: «Никому нельзя верить».

Я отыскал ее в Алуште — руководитель лесного семинара, главный лесничий страны Ковалин дал мне полдня на улаживание личных дел. Я их уладил до обеда.

Тот факт, что мы поженились и Кира переехала к нам на Сивцев Вражек, где отныне жили мама, Наташа, мы с Кирой и блютерьер Чита, перевел меня в новую категорию лиц, о чем я не подозревал. И Кира не подозревала. Она лишь терпеливо выслушивала стенания однокурсниц — зачем она погубила молодость!

Я не учитывал того, что наступил 1957 год. И оказалось, что наша великая держава не одинока на Земле. Что есть еще немало свободолюбивых молодых государств, которым мы должны помогать и привлекать их к борьбе с международным империализмом. Понадобились и переводчики, но кто пошлет за границу холостого переводчика, подверженного всем сексуальным опасностям и интригам, на которые столь охочи наши враги?

Так что я улетел в Бирму, куда последовали и остальные пять женатых переводчиков с курса.

Там мне предстояло сделать еще один шаг к фантастической литературе.

Первые месяцы мне пришлось трудиться на площадке, где строили Технологический институт. Кроме него в «подарочных» объектах числились: гостиница в Рангуне и госпиталь в Шанских горах. Все эти объекты были подарены бедной, но свободолюбивой Бирме Советским Союзом с одним маленьким условием: гордая, но бедная Бирма обязалась поставить нам эквивалент стоимости объектов в виде риса.

Как стать Фантастом Сначала Бирма меня разочаровала, как может разочаровать Россия молодого француза, приехавшего в Москву, чтобы поглядеть, как там по улицам гуляют белые медведи.

Рангун оказался миллионным городом, где многие жители видели слона только в зоопарке, улицы в нем прямые, река Иравади мутная и тесно заставленная пароходами и баржами, на тротуарах шумят торговцы и хозяйки закусочных.

Строители жили за пределами центральной части города, правильной, с многоэтажными домами, на той огромной, заросшей пальмами и манговыми деревьями территории, где бесконечно тянутся кварталы, состоящие из богатых и бедных домов, с обязательными газонами в английском стиле, окруженными магнолиями и гладиолусами.

Так как мы были демократами и братьями по классу (неизвестно какому), то жили куда хуже, чем европейские специалисты, и получали вдесятеро меньше. Если английский или немецкий инженер занимал двухэтажный дом и мог содержать повара и садовника, не говоря уж о шофере, то я, переведенный из переводчиков в завхозы, должен был размещать в каждой комнате по советской семье, а комнат в доме бывало не меньше четырех.

Повара нанимали всем домом, садовники были далеко не везде, хотя в Бирме, если у тебя есть газон и цветы, садовник — существо обязательное, иначе тропики уничтожат следы человеческого присутствия.

С утра я садился либо в машину, если мне ее давали, либо на автобус «кобра», переделанный из английского грузовика военного времени и набитый более возможности, и ехал в город, на таможню или на склад. В городе я не спешил, хотя бы потому, что никто там не спешил. Я шел в книжный магазин мистера Боуна, который был женат на бирманке и потому остался в Рангуне. Кроме меня, покупателей у него не было. Я брал какойнибудь фантастический роман в бумажной обложке, а еще две-три книжки Боун мне обязательно дарил, потому что скучал, а я сидел с ним часа два за чашкой кофе и беседовал на интеллигентные темы. Впоследствии Боуна окончательно разорили, и магазин закрылся. Но это случилось уже без меня, когда Бирма начала строить социализм и военная хунта погнала прочь англичан и индийцев. А пока с его помощью я сделал важнейший шаг к тому, чтобы стать фантастом.

Как сладко было приехать в город на автобусе (что всем остальным российским подданным категорически запрещалось из политических и гигиенических соображений) и вместо таможни отправиться в прохладный магазинчик Боуна на Аун Сан лян!

Боун предложит хорошую сигарету, поставит на спиртовку воду, чтобы сделать кофе. В магазине уютно пахнет книжной плесенью — в стране, где влажность воздуха зашкаливает за сто процентов, книжки всегда чуть влажные. Скучающими солдатиками стоят «пингвиновские» карманные издания. Оранжевые проза, зеленые — детективы, голубые — научно-популярные, а вот какого цвета фантастика — забыл. И был ли у нее свой цвет? Я купил у Боуна книжку неизвестного мне автора Оруэлла «1984», был потрясен, затем разочаровался, прочтя «Ферму» и «Бирманские дни». Помню, что Оруэлл был оранжевым.

Каждый месяц Боун получал английскую версию журнала «Гэлакси», у меня сохранилось несколько номеров — это был пропуск в американскую фантастику «Золотого века», когда Азимов, Кларк, Саймак, Пол, Шекли и Брэдбери были молоды и полны идей.

Я прожил в Бирме два года и постепенно накопил библиотеку фантастики. Я еще не подозревал, что сам стану писателем, ни строчки не написал в 1957 1959 годах, когда работал в Бирме, но я накапливал в себе фантастику, как груз, как бремя, от которого следовало разрешиться.

Наверное, в конце пятидесятых годов я был самым или одним из самых начитанных в американской фантастике российских читателей.

Мое вольное житье вызывало тревогу у некоторых советских организаций в Бирме.

До поры до времени мне не мешали шастать в город в одиночку, но за мной следовало иметь глаз да глаз. Для этого ко мне отрядили сотрудника торгпредства по имени Петя. У Пети были тонкие, вертикально к черепу, красные на просвет уши и худенькая шейка. Если я сейчас вижу где-то такую шейку и такие уши, мне хочется отвинтить человеку голову. Петя не скрывал, что меня «подозревают в намерениях». Но тогда я не знал, насколько серьезно. Для этого должен был случиться кризис.

Пете было известно, что я рисую. По воскресеньям.

Он заявил, что любит смотреть, как люди рисуют. И будет меня отвозить, куда я пожелаю, так как у него есть машина.

Однажды я проспал и очнулся от чужого присутствия в комнате. Не шевелясь, я приоткрыл глаза и увидел, что Петя сидит перед моим письменным столом, открыв ящик.

Неожиданно он повернулся ко мне и сказал:

— Не притворяйся, что спишь. Я же вижу, что притворяешься... А я тебя будить не хотел. Пускай, думаю, поспит. А я пока почитаю, что ты тут пишешь. И должен признаться, сомнительные у тебя стишки, а по уровню не достигают.

Стихи я разорвал тем же вечером. И не потому, что испугался, но стало стыдно, будто он подглядел меня голым.

Мне вообще со стихами не очень везло. Я их писал, как и положено, лет с четырнадцати, а потом мы стали издавать журнал «Ковчег» — четыре подростка и моя младшая сестра Наташка. Я был редактором. А наш коллектив назывался «Обществом единомышленников». К счастью, среди нас стукача не нашлось, а мы не особенно делились секретами ни с кем — только с двумя или тремя девочками из Наташкиной школы.

В том журнале я был себе господин и потому не удержался и принялся переписывать в него лирические стихотворения.

Впрочем, все мы, включая десятилетнюю Наташку, писали такие стихи.

Я и в институте писал их, но все более стеснялся показывать окружающим. И не зря. Правду, горькую притом, я узнал через много лет, когда в 1996 году мой соученик по институту Андрей Сергеев опубликовал повесть «Альбом для марок» и получил за нее Букеровскую премию. В той повести о моей поэзии сказано просто и прямо: «Самый ранний приятель в Инязе — Игорь Можейко. Легкий человек, кое-какие стихи...» Я несколько лет назад выпустил за свои деньги книжку стихов, в основном несерьезных. Андрей Сергеев оказался прав. Хотя я уже подготовил еще одну книжку. Вот накоплю денег...

8 В советском мире за границей было отлично известно, кто кому и кем служит. Но если ты знал, что тот или иной майор или капитан налаживает контакты с прогрессивной местной общественностью или курирует ГКЭС, ты мог быть спокоен, что он (если не сволочь по натуре) стучать на тебя не станет. В его обществе чувствуешь себя спокойнее, нежели среди любителей.

Помню, в начале шестидесятых годов, когда я работал в Бирме редактором АПН, поехали мы с моим шефом Левой (он представлял в Бирме военную линию) через всю страну в город Таунджи, где в Шанском государстве был построен госпиталь и трудились наши врачи. По дороге мы должны были обозреть работу отделений Союза обществ дружбы и узнать, насколько энергично бирманцы читают советскую пропагандистскую литературу.

Мы ехали по широкому шоссе, по обе стороны время от времени встречались щиты с названиями воинских частей, к которым вели ответвления от дороги.

Лева велел мне записывать номера частей — ни дня без строчки!

Мне было лень этим заниматься в такую жару, и я передал эту задачу в руки шофера Нуритдина, который не скрывал, что служит в бирманской контрразведке и следит за нами. Я об этом знал, Лева об этом знал, но ведь Леве надо было написать отчет. И Нуритдину надо было написать отчет. Только я мог бездельничать.

Добрались мы до горного Таунджи. Жили с Левой в соседних номерах. Сидели вечером, немного выпивали, и тут в дверь постучали. За дверью стояла жена врача. Она сказала, что ей надо поговорить с Левой конфиденциально. Я ушел, а через двадцать минут ко мне ворвался шеф. В ярости.

— Эта... принесла мне вот что! — Он кинул на мою постель общую тетрадь, исписанную мелким почерком отличницы.

— Что она написала, Бог с ней! Но зачем на мужа-то? — Лева был в ярости. И добавил: — И кого только наши коллеги вербуют!

К «бугру» Лева относился критически.

Но тетрадь с доносами отвез резиденту.

Врачебная жена была опасным типом любителя, поглощенного страстью лазить под чужие простыни, ибо полагала это своим долгом. А если мужа уберут, то всегда можно найти нового — она же не виновата перед органами, она жертва преданности общему делу.

Мой шеф ставил меня в тупик вот чем: если он вечером напивался по заведениям, то мне или Коле Новикову приходилось разыскивать его и тащить, мертвецкого, домой. Там его ждала крепкая мрачная супруга, несчастная, впрочем, женщина, и после того, как мы втаскивали шефа и укладывали на кровать, она его начинала бить. Тут мы уходили.

Утром шеф появлялся на службе вовремя, украшенный пластырями и бинтами. Синяки запудрены. Он говорил нам:

— Буду думать. До двенадцати не беспокоить.

Сначала эта фраза меня потрясала: оказывается, можно выделить мышление в отдельный процесс. Я вот хожу и думаю, ем и думаю, а шеф отдельно думает с восьми до двенадцати, а отдельно работает и кушает.

Такая жизнь продолжалась долго, пока мой шеф с консулом не напились до такой степени на пришедшем к нам судне, что потеряли портфель с паспортами дипкурьеров. Кто бывал за границей, понимает, какое это чрезвычайное происшествие.

Ситуация осложнилась тем, что поздно вечером к нашему посольству подошли два индуса и сказали, что случайно нашли в порту портфель и могут уступить его советским друзьям за умеренное вознаграждение. Дежурил в воротах комендант, отличавшийся умом и сообразительностью, подобно птице Говорун. Он хитро подмигнул индусам и сказал: — Дайте мне один паспорт, я посмотрю, настоящий ли он.

Индусы посовещались под фонарем у ворот, потом протянули сквозь решетку паспорт. Комендант схватил паспорт, засунул его за пояс, отбежал на почтительное расстояние и закричал:

— А теперь, сволочи, гоните второй паспорт, а не то в полицию позвоню!

Индусы плюнули в желтую пыль и ушли продавать второй паспорт американцам.

Невидимо для меня шла энергичная работа: летели шифровки, и начальство шуршало языками в звукоизолированных комнатах. Наконец кто-то где-то принял решение ограничиться строгачом.

Это было понятно.

Пьянство за границей считалось (а может, и сейчас считается) наименьшим из грехов. Более того, вовсе не пьющий человек вызывал подозрение и его обычно отторгали. Ну напились ребята, провинились. Но ведь Родине не изменили? Не изменили.

Эта фантастическая история, да и весь фантастический образ моего лысого шефа, конечно же, подтолкнули меня к созданию произведений литературы ирреальной и фантастической.

Но насыщения раствора, ведущего к выпадению осадка, еще не произошло. Уровень идиотизма должен был подняться.

И судьба покровительствовала мне. Она хотела создать из меня летописца нашей эпохи во всей ее красе.

Внутри меня рождался, застраивался город Великий Гусляр.

Добрая судьба осложняла ситуацию в нашем посольстве.

Сначала рехнулся военный атташе. Потом сошел с ума Нарциссов, за ним последовал стажер (правда, это было попозже), а вершиной событий стал побег Казначеев;), и, наконец, предательство Игоря Можейко, то есть меня.

С военным атташе было вот что.

Он переработал, переволновался, не хотел на пенсию, а хотел стать генералом. Он много думал и тревожился. И, заглянув к послу, сообщил ему конфиденциально (посол был человеком незлым, разумным, и к нему хотелось прийти с жалобами на жизнь), что он является американским шпионом. Я уж не помню деталей, но то ли посол отлучился, то ли кто-то чего-то не понял, но 'нашего полковника отвезли на «скорой помощи» в Центральный госпиталь, в нервное отделение.

Там он дождался, пока выйдет луна, выбрался на балкон, оттуда в сад и начал по саду бегать, искать выход и всем сообщать на английском языке, что он вовсе не американский шпион, как о нем думают товарищи, а настоящий советский патриот.

В Центральном госпитале Рангуна всегда дежурили репортеры из основных газет, чтобы первыми узнать, откуда привезли того или иного раненого или обожженного пациента. И сделать репортаж.

Они и увидели, как по дорожкам бегает человек в халате.

Человек не скрыл от них правду о своих убеждениях.

Тут его сняли с пальмы санитары, скрутили и передали молодцам из посольства.

Утром все газеты Бирмы вышли с шапками во всю первую полосу: «Русский военный атташе выбрал свободу!», «Головорезы из русского посольства держат в плену честного человека!» В те дни было какое-то очередное охлаждение в отношениях Бирмы с СССР, по-моему, из-за китайских поползновений на севере. Так что история с атташе была кстати.

Уверенные в том, что посольство будет вывозить несчастного правдолюбца в русскую тюрьму, журналисты, числом с полсотни, дежурили в порту, где стояло наше судно и не двигалось с места в ожидании инструкций, а другие полсотни отправились в аэропорт Мингаладон, чтобы перехватить атташе там.

И правда, после энергичных совещаний и обмена шифровками с Москвой из ворот посольства вырвался кортеж машин и рванул к порту.

Большая часть журналистов преследовала кортеж и встречала в порту.

В то же время из посольства выскочил второй кортеж и помчался в Мингаладон. В аэропорту полковника провели сквозь строй журналистов, репортеры предлагали полковнику выбрать свободу, коменданты и другие младшие чинами чекисты махали газетами перед лицами фотографов и несколько аппаратов, говорят, разбили. А полковник, ничего не понимавший и, очевидно, нагруженный лекарствами, махал ручкой, полагая, что его провожают поклонники, и кричал:

— Спасибо, товарищи!

Так он и исчез. В том случае имел место преувеличенный нервный патриотизм, а не желание рвануть на Запад. Иначе чего бы полковнику бегать в ночной рубашке по саду госпиталя и кричать, что он честный ленинец.

В посольстве росла температура психоза. Особого, советского, неодолимого и остервенелого.

И тут сорвался наш Нарциссов.

Он жил в доме над моим другом переводчиком Кириллом Шаньгиным и служил на строительстве чертежником. Был он тихим, робким человеком изящных жестов и выражений. Любил говорить: «Вот не помер младенцем, теперь всю жизнь мучайся».

И не ложился спать без бутылочки местного мандалайского джина, напитка грубоватого, но близкого русской душе.

Кирилл рассказывал, что вечером они сидели, пили чай и вдруг услышали сверху страшный грохот. Когда вбежали наверх, то увидели, что Нарциссов лежит под чугунной ванной. То есть он втиснулся под нее, приподняв эту тонну металла телом.

Его вытащили и спросили, почему он так поступает.

Нарциссов внятно объяснил, что в соседнем доме поселилась английская семья. Эта семья получила задание запустить в Нарциссова меченый атом. Этот атом будет ходить по сосудам, а англичане узнают все его мысли. Вот и пришлось чертежнику лезть под ванну, потому что лучи сквозь чугун не проникают.

Нарциссова отвезли в посольство, заперли в медпункте и стали ждать самолета, который летал раз в неделю.

Первый день Нарциссов провел спокойно, но на второй затосковал и объяснил своим тюремщикам, что теперь ему незачем жить, потому что никто в Москве не поверит, что он патриот, все там уже знают, как он продался международному империализму.

И смысла жить нет.

В роли тюремщиков в тот момент выступали два посольских стажера, которые играли в шахматы на прикроватном столике.

Нарциссов не спеша отошел к стене, уперся в нее спиной, потом неожиданно оттолкнулся и кинулся вперед на выступающий угол противоположной стены.

И раскроил себе голову.

Не до смерти. Но до самолета он лежал в лежку, а к самолету шел с обвязанной бинтами головой. А за ним бежали бирманские фотографы...

Их репортажи назывались: «Вторая жертва коммунистов».

Обратите внимание: уже две жертвы стремились доказать, что они патриоты и коммунисты.

Дальнейший рассказ приведет нас к людям других убеждений.

Приехал в посольство стажер. Бирманист, который целый год ждал поездки, переживал, нервничал, уже не верил, что ему удастся попасть в любимую, но недосягаемую Бирму. Он был так счастлив, что первую неделю вовсе не спал.

Как и положено комсомольскому идеалисту, он сразу же согласился нести полсотни общественных нагрузок, которые были рады взвалить на него ветераны, стал редактором стенгазеты, членом месткома, вратарем в футбольной команде... а ночами читал бирманские газеты, слушал радио, зубрил местоимения...

На второй неделе стажер пошел в столовую, которая стояла на территории посольства, в самом дальнем углу, взял там тарелку супа и, пользуясь тем, что после обеда все замерло от жары и сытости, вошел в главное здание, поднялся к послу в кабинет и поставил тарелку на стол руководителю нашего посольства.

— Кушайте, — мягко попросил стажер посла, — вам надо подкрепиться. Нам с вами сейчас придется взять вашу машину и поехать своим ходом в Бангкок, а оттуда на пароходе в Штаты. Я решил изменить Родине...

Вы слышите: те же ноты! Хоть и меняется рисунок мелодии, суть ее остается — личные отношения героя и Родины! Оруэял, Замятин, Олдос Хаксли!

Посол Сделал вид, что согласился, схлебал весь суп, рассуждая, как бы схватить и скрутить стажера, и думая притом, какой отвратительный суп готовят повара для экономных сотрудников посольства. У самого посла был свой повар.

Ничего не придумав, посол доедал суп, и тут на его счастье в кабинет вошел дежурный секретарь посольства Саша Развив.

Вдвоем с послом они скрутили стажера.

Эта история так не кончилась.

Стажер дождался самолета и улетел на корабле, Аэрофлота.!

И сопровождал его один из атташе посольства, который собирался в отпуск. Самолет перелетел границу Родины, пошел над Сибирью. Сопровождающий атташе успокоился и задремал.

Стажер вежливо и спокойно спросил, можно ли ему пойти в туалет? Атташе не возражал. Через пять минут по самолету прокатился изумленный гул. Почувствовав неладное, атташе проснулся и вскочил.

По проходу медленно шел абсолютно голый стажер, неся свернутые в охапку вещи.

— Ты что? — спросил атташе.

— Тише, — ответил стажер. — Меня никто не должен узнать.

И последними событиями в этой сумасшедшей серии, с помощью которой судьба выковывала из меня фантаста, оказались два удачных бегства...

У нас с Сашей Казначеевым дни рождения рядом, он был атташе, я работал на стройке, но мы принадлежали к одному разряду молодых и, скажем, интеллигентных людей в нашей колонии.

На дне рождения никто ни о чем не догадался.

А через несколько дней Саша ушел из посольства, даже оставив там свою машину, чтобы его не могли обвинить в уголовщине.

Затем он пришел в американское посольство и попросил политического убежища. Тогда это было еще в новинку, но измена Родине прошла гладко. Он даже встречался по требованию посольства с нашим консулом и резидентом (то есть одним из советников) и подтвердил, что убежал сознательно и никто его не похищал.

Потом Саша жил в Америке, написал довольно скучную книжку и вроде бы погиб в автомобильной катастрофе. Не знаю, что случилось на самом деле.

Но на моей судьбе это сказалось.

Ведь после бегства Казначеева и всех прочих событий верхушка посольства и других организаций в тесном контакте с Москвой уселась составлять списки людей надежных, не очень надежных и совсем ненадежных.

И, оказывается, последний список возглавил я. Тоже перст судьбы!

Во-первых, я имел выговор по физкультурной части (физкультурной называлась из конспирации комсомольская организация). Второй выговор был негласный, его я получил за то, что моя жена убежала от меня с Володей Васильевым, научным сотрудником Института востоковедения, который жил сам по себе, игнорировал посольство и его правила, ездил на взятом напрокат джипе, сиденье которого было покрыто ковром, и имел смелость допрашивать начальника строительства Алиханова: — Простите, вы не были в лупанарии во время вашего визита в Помпею?

На самом деле Кира улетела на одном самолете с Володей в Москву, но меня из-за этого не покинула, да и Володя, которого не выносила посольская свора, не подозревал о своих донжуанских подвигах и уж тем более не знал, к чему он меня толкает.

А толкал он меня к измене Родине. Что делать переводчику без жены? Изменять Родине, естественно!

Оказывается, к тому же я читал книжки на английском языке и проводил время в магазине одного англичанина. Там я пил кофе в рабочее время. И что еще хуже — справлял день рождения с предателем Казначеевым.

В общем, верхушка посольства, собравшись и рассмотрев кандидатуры на измену, пришла к выводу — следующим убежит Можейко.

А я не знал об этом и продолжал жить в этом фантастическом романе, который настолько правдив, что его мог написать только Сергей Довлатов.

...В тот самый день я собирался на таможню. Шофер Миша (Маун Джи русские всегда коверкают имена обслуживающего персонала, полагая, что русифицированные клички доставляют местным жителям наслаждение) в тот день не прибыл, потому что поехал на нашем «газике» лечить зубы. Я подождал его, подождал, остальные мои соседи по дому — главный инженер Мекрюков, дядя Гося и Шарыгин — уже уехали на площадку, и пошел на автобусную остановку. Пользоваться автобусом нашим гражданам было категорически запрещено. Хуже его были только рикши, поездки на которых приравнивались к посещению публичного дома. Автобусы в тогдашней Бирме были переделаны из английских грузовиков времен войны, спереди на них помещался не номер — далеко не все обитатели нашего города были достаточно грамотны, — а изображение живого существа. Например, на нашем автобусе была нарисована кобра.

Я влез в «кобру», к счастью, не очень набитую, удалось присесть на деревянную скамейку, и мы поехали.

В порту я отправился к знакомым таможенникам, которые быстро оформили мне груз для строителей. К. обеду я закончил дела и вышел на улицу, но тут как назло хлынул ливень. Был ноябрь, дождям пора бы и прекратиться, но хвост муссона никак не мог утихомириться. Зонтик я, конечно, не взял. Так что я добежал до кафе, взял там газету «Гардиан» и принялся за чтение. Дождь, как и положено в тропиках, хлестал стеной, и когда прервался, от асфальта, под лучами солнца, поднялся пар.

Следующий ливень застиг меня уже у вокзала. Так что мне ничего не оставалось, как, пользуясь навесами над вереницей кинотеатров на улице Аун Сана, бежать к магазину Боуна.

Боун был мне рад — я оказался первым покупателем за тот день. Мы с ним протрепались часов до шести, и я отправился домой.

Словом прибыл я уже вечером.

Я вылез из автобуса у нашего дома № 93 и увидел, что на круглом асфальтовом подъезде к дому стоит десятка полтора машин — посольских, торгпредских и наших, строительных.

Что случилось? Сердце сжала тревога! — хочется говорить торжественно.

Я осторожно подошел к дому и увидел — все пусто. Только из кабинета главного инженера доносятся голоса. И я чуть-чуть приоткрыл дверь.

В кабинете на стульях, принесенных из всех комнат, сидели лидеры советской колонии. Сидели, судя по всему, давно. Выступал Петя — тот чекист, что был ко мне приставлен.

— Я неоднократно сигнализировал, — твердил он, — но к моему голосу не прислушались. А ведь все шло к тому, что...

И тут ко мне вернулось спокойствие. Слава Богу, ничего страшного! Они опять обсасывают Казначеева... Тогда мне лучше сесть вон на тот пустой стул у двери и сделать вид, что я давно и послушно присутствую.

Я тихо-тихо приоткрыл дверь и сел на стул. Моего появления никто, кроме оратора, не заметил.

Оратор заметил.

Он оборвал свою речь на полуслове и стал говорить: а-а-а... а-а...

Потом показал на меня пальцем.

Тут я пережил неприятную минуту. Все головы сидящих в комнате поворачивались, следуя указанию пальца, в мою сторону. И глаза стекленели...

Наконец Петя громко и уверенно крикнул:

— Провокация! Товарищи, я же предупреждал вас быть готовыми к провокации!

Люди поднимались, некоторые, проходя, окидывали меня презрительным взглядом, другие уходили не глядя.

Лишь потом, когда все разошлись, мои коллеги рассказали, что же произошло.

Часов в одиннадцать утра я зачем-то понадобился Алиханову.

— Где Можейко?

— Вроде бы в город собирался уехать, — сказал мой сосед Шарыгин.

— На какой машине?

— Машины не было. Миша не приехал.

— На «кобре»?

— На «кобре».

— Черт знает что! Как приедет на обед — немедленно ко мне! Сколько раз можно говорить, чтобы на городском транспорте не катались?

На обед Можейко не приехал.

В пять часов Алиханов скрепя сердце, но подчиняясь инструкции, доложил о ЧП послу.

В посольстве именно этого от меня и ждали.

В то время, когда я пил чай с молоком у Боуна, в наш дом начали съезжаться уставшие, злые, перепуганные чины советской колонии.

К семи все было ясно. Выступавшие старались превзойти друг друга в бдительности задним числом. К сожалению, там не было ни магнитофона, ни стенографистки. По крайней мере Саша Развин говорил, что получил искреннее наслаждение, узнав, с какого нежного возраста я работаю на американскую разведку.

Правда, должен заметить, что мои сверстники и приятели в этой игре участия не принимали — уже шло к жизни новое поколение, которому зваться шестидесятниками. Потом, правда, они тоже постареют и изменятся...

Итак, вы можете представить, какой переполох произошел из-за моего возвращения. Но никто из разоблачителей не почувствовал неловкости. Потому что мы жили в антиутопии.

Вечером я имел неприятный разговор с Алихановым, в конце которого Юрий Иванович сообщил, что отправляет меня в двадцать четыре часа на Родину, которой я чуть было не изменил. Наутро меня вызвали к послу, потом почему-то к парторгу посольства... Все они крушили кулаками мебель и грозили мне отъездом в Москву — самое страшное наказание!

Но и я, и мои собеседники знали, что все это игра.

Вот он ругает меня, клеймит, а в глазах горит зайчик тихого удовлетворения: «Мерзавец, интеллигент паршивый, убить мало! Но ведь не сбежал!» Через несколько лет в Вашингтоне у одного из советников убежит молодая жена с двумя маленькими детьми. Она пыталась уговорить мужа последовать ее примеру, но тот не согласился оставить Родину. Он был шестидесятником и доктором философии. Когда жена исчезла, муж два дня сидел в прострации, надеясь, что она опомнится и вернется. Так что, когда посольство узнало об утрате, ловить было поздно. Муж возвратился в Москву и долго не мог найти работу. Я помню слова одного чиновника, полагаю, типичные: «Не смог жену удержать, сам бы с ней убежал. А такой нам не нужен...» Моя жена вроде бы сбежала от меня на Родину. Так что вся семья бежала, куда надо.

Я остался в Бирме, но, что характерно, меня отправили домой точно в день, когда исполнилось два года моего контракта. Я был единственный переводчик или специалист, которому не предложили поработать еще с полгодика. Хотя работал я не лучше, но и не хуже других...

Зато я стал фантастом.

И полагаю, что на моем месте фантастом мог бы стать любой.

Теперь, когда все свершилось, я понял, что истоки моей творческой биографии лежат именно в двух бирманских годах.

Только в те годы я об этом не догадывался.

Я думал, что это и есть нормальная человеческая жизнь.

Вернувшись в Москву, я подал документы в аспирантуру Института востоковедения, в отдел Юго-Восточной Азии. К счастью, в тот, 1959 год, никто, кроме меня, посвятить свою жизнь бирманистике не пожелал, и конкурентов у меня не было.

Я же два года прожил в Бирме, немного говорил и читал побирмански.

Моим научным руководителем стал тот самый Володя Васильев. На второй день моего пребывания в стенах учреждения он вывел меня в коридор и попросил: — Игорь, пожалуйста, называй меня при людях Владимиром Федоровичем и на «вы».

Я смутился и согласился. Мы возвратились к старым отношениям лишь через несколько лет.

В аспирантуре платили тысячу (потом это стало сотней) рублей, родилась Алиса, с деньгами было плохо, тем более что мы не умели их беречь. Мы оказались единственной семьей в Бирме, которая не возвратилась с машиной. Зато славно пожили, ездили на океан, я привез более тысячи книг, мы были одеты и обуты. В начале шестидесятых годов я еще съездил от Зарубежстроя в Гану и Ирак — по два месяца за раз.

И, главное, я начал печататься.

Разумеется, речи о фантастике пока не было. Но мамина приятельница, переводчица с английского, привела меня в журнал «Вокруг света», где мне предложили написать очерк о Бирме.

Первый очерк появился в середине 1960 года, и мы с друзьями поехали на Онежское озеро.

В институте я был заядлым туристом. Когда женился, раза два брал Киру на какие-то межсезонные вылазки. Но беда заключалась в том, что мы любили громко петь, не соблюдая законов гармонии и не придерживаясь мотива. Кира же, окончившая училище при консерватории, должно быть, испытывала невыразимые муки. На третий раз она с нами не поехала, а на четвертый и я остался дома.

Правда, тогда туризм в нашем институте сошел на нет из-за трагедии, в которую я не угодил по случайности. Устроился в последний момент на работу с «лесным семинаром». А пятнадцать человек из нашей секции пошли на двух шлюпках в Ленинград на день Военно-Морского флота. Они спешили, чтобы успеть к празднику. Решили проскочить перед штормом на Рыбинском море, и их разбило о стволы мертвого леса в северной части водохранилища.

Когда водохранилище заканчивали, тоже стремились уложиться в ударные сроки и лес не успели спилить. Так и остались страшной угрозой подводные стволы.

Находили тела наших ребят и девушек в течение двух недель, привозили в цинковых гробах, и за две недели мы похоронили многих — это страшное воспоминание, это было как работа. Сегодня с утра на кладбище, и завтра на кладбище...

С шестидесятого года я регулярно печатался в «Вокруг света», ездил в командировки и экспедиции от журнала и стал в редакции своим человеком. По моим расчетам, за годы работы в журнале я заполнил своими материалами более двух полных номеров.

С писателями моего поколения я познакомился уже в первой половине шестидесятых, когда занимался журналистикой и начал переводить для издательства «Мир», где чудесный человек Евгений Артурович Девис основал длинную и, можно сказать, революционную серию зарубежной фантастики. Я уверен, что для развития современной фантастики эта серия сделала даже больше, чем редакция Жемайтиса. Впрочем, можно ли сравнивать?..

Но большинство будущих и действующих, к тому же небогатых фантастов прошли сквозь эту серию в качестве переводчиков, составителей и авторов предисловий.

Я был в числе переводчиков и рецензентов, поскольку знал английский язык. Вот это была настоящая школа!

Правда, надо сказать, что для Евгения Артуровича все мы, приходившие в его узкий, как щель, кабинет, четко определялись по полкам, на которые он нас помещал.

Я оказался на полке «рецензентов и переводчиков». Уже в составители я не попадал, а предисловие, если не ошибаюсь, мне доверили написать лишь однажды: шел болгарский сборник, а я возвратился из Болгарии и знал авторов лично.

Из-за этой консервативности Девис долгие годы не хотел верить в то, что сам я могу что-нибудь написать. А лет пять назад, когда Евгений Артурович был консультантом в «Армаде» и там возник вопрос, не начать ли нам сотрудничать, он вызвался быть посредником и, встретившись со мной, сообщил: «Переводчик ты неплохой, но стоило ли тебе бросать это занятие сомневаюсь...» В «Мире» я познакомился с переводчицей Нелли Евдокимовой, полной, ленивой, талантливой женщиной, а потом и с ее мужем — Сашей Евдокимовым, книжным торговцем и, главное, очень неплохим библиографом.

Саша был страшно худ, немного похож на верблюда и лохмат.

Жили Евдокимовы в ближайшем к Бородинскому мосту доме на набережной. Там была арка этажа в четыре. Как раз над аркой и располагалась их квартира, а может быть, часть коммуналки.

Словом, просторная высокая комната со стеллажами, продавленным креслом и еще более продавленным диваном. Были там еще какие-то сидячие места, потому что, когда Нелли завела свой литературный салон, собиралось до двух десятков гостей и все как-то размещались.

Здесь я и увидел фантастов.

Главная фигура на этих сборищах — Ариадна Громова. Она была по натуре Главной Женщиной.

Ариадна приходила и садилась в кресло, а за креслом стояли ее молодые оруженосцы — Шура Мирер и Рафа Нудельман. Первый — начинающий фантаст, один из лучших в нашей стране; второй — критик, переводчик и соавтор Ариадны.

Аркадию Стругацкому, который тоже заходил раз или два, почетного места не доставалось, потому что он был начинающим и еще не понимал, насколько велик.

Я вовсе не был фантастом, писателем или кем-то еще. Но принадлежал к когорте переводчиков.

Вторая моя встреча с настоящим писателем произошла куда позже, в 1967 году, когда я решил написать фантастический роман. Об этом я договорился с моим другом, редактором «Детгиза», Ниной Матвеевной Берковой, и она же мне посоветовала уехать куда-нибудь из Москвы, чтобы не выкраивать для работы по двадцать минут в день, а садиться с утра и до вечера стучать на машинке, до упаду.

Присутствовавший при этом разговоре Олег Соколов, который тогда работал в «Искателе», сказал, что отлично знаком с рижским писателем Владимиром Михайловым, чудесным гостеприимным человеком. Так что садись, Игорь, в поезд, позвонишь Володе с вокзала и проведешь месяц на Рижском взморье, там у них потрясающий Дом творчества писателей, на самом берегу, вокруг сосны шумят.

Что за наваждение нахлынуло на меня, до сих пор не понимаю! Как я мог заявиться в чужом городе к незнакомому человеку? Сам этого никогда не делаю и не люблю, когда так поступают со мной. Но вот сошел я с поезда, позвонил Михайлову... его не было дома, а его жена Наташа вежливо предложила мне зайти к ним и подождать.

С чемоданом и пишущей машинкой я ворвался в квартиру Михайлова и застрял на несколько часов, потому что он занимался собственными делами, не подозревая, какой сюрприз его поджидает.

Когда он увидел меня, вполне обжившегося в его квартире, то в первый момент, к моему стыду, не смог скрыть некоторого раздражения — день выдался нелегким, и Михайлов выглядел усталым.

Понемногу Михайлов обмяк, подобрел, а так как человек он весьма доброжелательный, то через час мы стали приятелями, каковыми и остались на всю жизнь.

У Володи Михайлова я увидел полку, где стояли не только журналы с его повестями и рассказами, но и самые настоящие книжки, на которых было написано имя автора. А сам автор, невысокий, подтянутый, быстрый в движениях, черноволосый, не подозревавший о том, как его закрутит жизнь, стоял рядом со мной и вел себя как равный.

Володя оставил меня у себя ночевать, а на следующий день повез на взморье искать жилье. Почему-то Дом творчества для меня был закрыт — то ли из-за моего социального положения, то ли еще по какой причине, но мы сняли комнату в домике рядом с писательским, у уборщицы, милой латышской молодой женщины с двумя сыновьями. Месяц я прожил в ее доме, текла вялая, мокрая прибалтийская зима, в маленьком кафе у шоссе дешево (не сезон) угощали взбитыми сливками, миногами и настоящим кофе. Снег сыпал ночью, а утром таял везде, кроме газонов. Я сидел перед окном, плюхи мокрого снега срывались с сосновых ветвей, и те облегченно выпрямлялись. Я написал роман «Последняя война», который сложился несколькими месяцами раньше, когда я плыл на «Сегеже» из Мурманска в Тикси.

Даже космический корабль в романе именовался «Сегежей», да и некоторые члены экипажа носили имена моряков сухогруза.

Больше я ни с кем из коллег не сходился, если не считать, конечно, моего друга Романа Подольного, который вел литературный раздел в журнале «Знание — сила» и с уходом которого это издание немедленно отказалось от трудной чести быть пионером российской фантастики, уступив пальму первенства журналу «Химия и жизнь» Роман Подолъный был автором чудесных коротких новелл, но не получил должной известности, так как ему не давалась крупная форма — в романе, даже в повести он не был удачлив.

Зато был лучшим в стране популяризатором науки, чему способствовала уникальная, абсолютная память.

Как-то Роман заболел, и я поехал его навестить, а по дороге вспомнил, что не захватил ему чего-нибудь почитать. Шел я в тот момент по Арбату, проходил мимо букинистического напротив театра Вахтангова, заглянул туда и увидел комплект журнала «Нива» за 188-какой-то год. Тогда, лет двадцать назад, подобный комплект стоил так дешево, что обошелся мне лишь в поездку на такси. Я добрался до Романа на метро и отдал комплект. И что же, вы думаете, он сказал?

— Погоди, может быть, я не буду это читать. Ведь когда мне было десять лет, мама приносила мне комплекты «Нивы». Я же все помню.

Правда, еще лет через десять изумительная память Подольного его сильно подвела. Он написал очередную книгу по физике, но рецензент указал ему на какие-то фактические ошибки. Роман был в бешенстве — он не мог ошибиться! А оказывается, ошибся...

Трудно представить себе более удрученного человека, чем Подольный. Его предал лучший, верный друг — собственный мозг.

Именно благодаря Полольному в журнале появлялось все, достойное упоминания в нашей фантастике. Здесь были напечатаны ранние вещи Стругацких, а также их поздние повести. Здесь публиковалась замечательная повесть Мирера «У меня восемь жизней». Здесь появлялись переводы лучших американских и английских авторов. Многие сотни тысяч читателей подписывались на «Знание сила» как на эталон журнала. И в этом заслуга Романа Подольного.

Будучи человеком остроумным и изобретательным, Подольный стоял и за многими нестандартными начинаниями в редакции. Например, Подольный придумал «Академию веселых наук». Здесь печатались сообщения сомнительные и более чем сомнительные. Например, как-то в «Академии» появилась статья о том, что жирафа быть не может, потому что у живого существа не бывает такой длинной шеи. Вы бы видели, сколько писем пришло в редакцию! Сотни! В них читатели, слепо верящие в печатное слово, выражали возмущение тем, что журнал «Огонек» поместил фотографию этого якобы существующего животного!

Сыпались упреки в адрес Брема и учебников зоологии.

Но высшим проявлением этой святой простоты мне представляется реакция прессы на небольшую шутливую заметку Льва Минца в журнале «Вокруг света» примерно такого содержания: «Интересный обычай существует в княжестве Раджапур в Южной Индии. Каждые полчаса под окном магараджи стреляет пушка и специальный глашатай кричит: „Тише, тише, властитель отдыхает!“ Минц собирал и наклеивал в тетрадку перепечатки этого сообщения в различных журналах. Их было немало.

Я написал в «Академию веселых наук» письмо из города Великий Гусляр. Пенсионер Ложкин сообщал, что грецкие орехи — наши ближайшие братья по разуму. В палеонтологическом прошлом они ползали по веткам деревьев и охотились на мух, но затем любовь взяла вверх, и, чтобы не отвлекаться, орехи объединили два мозга под твердой скорлупой. Теперь они нежатся, забыв о внешнем мире.

Разумеется, в письме все объяснялось подробнее, эволюция грецких орехов рассматривалась со ссылками на авторитеты, и в конце был призыв: откажитесь от пожирания братьев по разуму!

На эту публикацию пришло несколько десятков откликов, в основном с обещаниями никогда больше не есть грецких орехов.

Лучшим из писем было коллективное послание от пограничной заставы.

Еще одним из изобретений Подольного, имевшим отношение к фантастике, была Комиссия по контактам.

Подольный придумал создать комиссию из ученых, скептиков по натуре, для рассмотрения претензий людей, взгляды которых выходят за пределы науки.

Экспертов было чуть больше дюжины, редакция ставила нам чай и печенье. В журнал приходили телепаты, телекинезисты, создатели новой хронологии и прочие волшебники. Должен сказать (а если кто остался в России из членов комиссии, он подтвердит), что ни один из визитеров не смог прочесть мыслей, угадать треугольников, двинуть стакан или доказать, что античный мир придумали средневековые монахи. А уж о летающих блюдцах и таинственных пришельцах лучше не упоминать. Посетители уходили с комиссии обиженными. Благо у нас было могучее чувство юмора и принцип необычного, предложенный математиком Юрой Эстриным: «Ни одна мифология мира не сумела придумать кенгуру».

Но потом комиссия, столь гордая и скептическая, позорно опростоволосилась. Виноват был фон Денникен.

Он поставил фильм «Воспоминание о будущем», который в те годы делил первое место по популярности с фильмом «Зачем я это сделала?" — о гибельности абортов. Когда я смотрел „Воспоминание...“, то в пределах своей специальности понимал: как врет автор, почему врет и в чем его слабость.

Но лишь только фильм выходил за пределы моих знаний, я ловил себя на позорной мысли: «А вдруг в этом что-то есть?» Оказалось, что мои коллеги по Комиссии, посмотревшие творение Денникена, также находятся в некотором смятении. И кто-то предложил пойти еще раз и посмотреть картину коллективно, дабы написать совместную рецензию.

Мы уселись в зале с записными книжками. И каждый ждал своей добычи...

Ага, говорил себе я, вот железная колонна в Дели, которая умудрилась не ржаветь полторы тысячи лет, поскольку сделана, конечно же, пришельцами из особо чистого железа. Но фон Денникен не знает, а его читатели и подавно, что один шведский металлург решил проверить, так ли это, и выкопал яму у подножия колонны. Затем взял на анализ частицу металла и выяснил, что колонна склепана из кусков достаточно «грязной» стали, глубоко проржавела у основания, где на нее попадает влага из почвы. Держится она лишь силой особо сухого воздуха в том районе.

И вот подобные вполне научные факты вспоминал каждый из нас на просмотре фильма.

Мы написали коллективную рецензию. И даже не очень глумились над Денникеном, который в то время сидел за мошенничество в швейцарской тюрьме. После чего стали ждать благодарности от читателей.

И тут наступила катастрофа!

В редакцию пришло несколько сот писем. И ни одного, в котором говорилось бы: «Молодцы, доктора наук, славно потрудились!» В этих письмах предлагалось лишить нас ученых степеней, выгнать с работы, обломать паршивые пальцы, посадить в тюрьму и даже расстрелять, чтобы мы не портили воздух славной планеты Земля.

Впрочем, мы не долго расстраивались. Мы быстро сообразили, что попытались бороться научным скептическим словом с явлением религиозного сознания. Неподвластным логике. И были обречены на поражение.

Мой первый рассказ был напечатан в журнале «Вокруг света». Это было постыдное произведение — не только потому, что рассказ был плохо написан, но и потому, что он был склеен из кусков казенного патриотизма.

На строительстве советских «подарочных» объектов шофер Миша (Маун Джи) подвергается укусу злобной ядовитой змеи.

Советские люди успевают привезти его в Пастеровский институт. Вот, пожалуй, и все.

Но какие люди!..

Когда же я впервые напечатал сугубо фантастический рассказ?

Это история не только давняя, но и длинная.

Дело происходило в середине шестидесятых годов, в «Искателе», приложении к «Вокруг света».

Мы боролись с пьянством.

Очень уж тогда было принято пить на рабочих местах. Я даже из АПН сбежал, потому что там каждый рабочий день кончался походом в шашлычную «Эльбрус» на Тверском бульваре.

Примерно то же творилось и в «Вокруг света». И мы решили: с этим надо кончать! Но безболезненно.

Прежде всего мы скинулись. Купили бутылку водки за 2 рубля 87 копеек, бутылку коньяка за 4 рубля 12 копеек и совсем уж недорого — бутылку портвейна для пижонов.

Бутылки поместили в шкаф. Рядом положили ржаных сухариков, поставили рюмку и пустое блюдце.

Ты захотел выпить. Для этого ты должен на глазах у всего «Искателя» открыть шкаф, положить на блюдечко 50 копеек, налить себе рюмку — и наслаждаться. Мы полагали, что наслаждения в одиночку не выйдет, потому что пить приятно за компанию.

И на самом деле пьянство исчезло. Как социальное явление.

До того самого трагического дня...

Из типографии сообщили, что тиражом в 300 тысяч экземпляров напечатана цветная обложка для «Искателя». А цензура заявила, что из номера изымается переводной американский рассказ (честное слово, не помню, за что).

Обложка была иллюстрацией к запрещенному рассказу.

Фантастика нашей жизни, наша родная антиутопия подняла свою драконью голову и усмехнулась мне. И швырнула мне в лицо перчатку.

— Это ужасно, — сказал кто-то. — Мы остаемся без премии, тринадцатой зарплаты, а вдобавок подвергаемся идеологическим гонениям. Что делать?

Кто-то другой сказал, что придется вынуть из шкафа бутылки. Мы вынули и выпили, закусывая сухариками. И никак не могли ничего придумать. Но с последним глотком ко мне пришло озарение, изменившее мою жизнь. Я поднял перчатку, брошенную драконихой антиутопии.

— Давайте сделаем так, — сказал я. — Мы расходимся по домам и, пока не выветрился благодатный алкоголь, пишем по рассказу, который можно иллюстрировать несчастным рисунком на несчастной обложке.

Все закричали: «Ура!" — А потом мы решим, чей рассказ лучше, и напечатаем.

Мы разошлись по домам.

Я сел за машинку, благо уже три года не знал другого способа материализовать свои мысли. И положил перед собой обложку.

На обложке был нарисован стул. На стуле банка. В банке динозавр.

На заднем плане, если не ошибаюсь, рыжая сопка.

Я написал рассказ о том, как в редакцию журнала приходит телеграмма от фотокорреспондента с Дальнего Востока: мол, динозавры не вымерли и один из них пойман.

В редакции начинается суматоха, достают железнодорожную платформу, отправляют на Восток, но тут в редакцию входит фотокор с банкой в руке. В банке сидит динозавр. «Динозавры не вымерли, — говорит фотокор, — но сильно измельчали».

Когда я пришел на следующий день в редакцию, оказалось, что все мои коллеги проспали ночь без задних ног и никакого конкурса рассказов не получится. В редакции так удивились одному случайному сумасшедшему, что даже, по-моему, читать рассказ не стали и в тот же день загнали в набор. Все остались с премиями и тринадцатой зарплатой, а начальство предпочло не раздувать историю.

Рассказ назывался «Когда вымерли динозавры», а номер «Искателя» вышел в свет на рубеже 1967 года[«Искатель» № 2, 1967 г. — Примеч. Ред].

Теперь следовало родиться на свет Киру Булычеву.

В нашем апокрифе говорится: как только стало известно, что рассказ «Когда вымерли динозавры?» был принят к печати, журналист и востоковед Можейко сильно закручинился. С одной стороны, хотелось прославиться, но опасения были велики.

Ну, выйдет фантастический рассказ. Прочтут его в институте. И выяснится, что младший научный сотрудник, лишь вчера защитившийся, про которого известно, что он сбежал из колхоза, прогулял овощную базу, не явился на профсоюзное собрание, отнесся не по-товарищески к известной красавице Ивановой, еще и пишет фантастику!

Гнать такого Можейку из института!

В общем, я испугался. И в одну минуту придумал себе псевдоним Кир — от имени жены, а Булычев, как известно, фамилия мамы. Может, дай мне побольше времени, создал бы что-то более изысканное. Но времени не было.

Самое интересное, что в институте в течение многих лет никто о занятиях Булычева не знал. Это было известно лишь самым близким друзьям.

Так продолжалось до 1982 года, когда я получил в один год сразу две госпремии (был сценаристом в двух фильмах). И в газетах неделикатно объявили: «Кир Булычев (Игорь Всеволодович Можейко)». Когда я пришел в институт, мне сказали, что заведующий отделом и парторг отправились к директору посоветоваться, что со мной делать. Ведь серьезный отдел, приличные люди — а тут такой конфуз!

К счастью, директор института, впоследствии шеф российской разведки, а позже премьер-министр, был не лишен чувства юмора. Он выслушал наших вождей и спросил: «План выполняет?» Шефы переглянулись и сказали: «Выполняет». «Ну и пускай дальше выполняет», — заключил директор, и на этом проблема псевдонима была закрыт.

Апокриф о первом рассказе Булычева подтвержден документально. И все же он, как положено апокрифу, не совсем правдив.

К тому времени я уже напечатал несколько детских сказок в «Мире приключений» — первые истории о девочке из XXI века. Более того, в письменном столе уже лежали другие фантастические опусы, которые для печати не предназначались.

Они были написаны большей частью во время моей второй поездки в Бирму.

Срок аспирантуры заканчивался, надо было защищать кандидатскую, которую я писал по проблемам бирманского средневековья. О государстве Паган, существовавшем в долине Иравади в XI—XIII веках, одном из крупнейших и самобытнейших государств Юго-Восточной Азии. И тут мне предложили в АПН поехать в Бирму снова — редактором и корреспондентом Агентства.

И я согласился.

Во-первых, потому что я рассчитывал добыть там материалы, чтобы закончить диссертацию. Во-вторых, мне нужны были деньги. В-третьих, мне просто хотелось снова побывать в моей драгоценной Бирме.

Так что летом я прошел стажировку в АПН, затем осенью 1962 года отъехал в Рангун.

...Есть печальный закон: нельзя возвращаться в полюбившиеся места и к прошлым привязанностям. Я помню, как в середине шестидесятых годов у нас с Кирой образовалось свободное время зимой и захотелось вырваться из Москвы. Мы сели в поезд и поехали в Ялту. В зимней Ялте светило весеннее солнце, кое-где цвели розы, ветер был не холодным, а прохладным. Но, главное, было пусто, чисто и просторно. Мы сняли за три рубля чудесный номер в гостинице «Ореанда», вечером ходили в ресторан, где в пустом зале играл небольшой оркестр. Мы подружились с оркестрантами, они потом приезжали к нам в Москву. Я тогда понял, что должен буду написать роман о зимней Ялте. Но взялся за него через двадцать лет — это мой главный и все еще недописанный роман «Река Хронос».

Новый год мы встречали в том же ресторане, накрыв общий стол с оркестрантами, к счастью, народу в ресторане было так мало, что музыканты большую часть ночи сидели за общим столом, а часов в пять утра мы пошли к расшумевшемуся за ночь морю. Было совсем темно, только чуть светились облака, а по морю гуляли белые барашки.

Когда мы возвратились в Москву, то все уши прожужжали друзьям о сказочной поездке, и неудивительно, что на следующий Новый год мы вернулись в Ялту с дюжиной приятелей.

Это была катастрофа.

Сыпал паскудный дождь, оркестр развалился, почему-то начались дрязги в нашей компании...

Так и с Бирмой. Вторичное путешествие туда оказалось менее интересным, и люди были поскучнее, и работа несладкой... и так далее. Хотя я несправедлив.

Во-первых, за год с небольшим в Бирме я настрочил в нашу АП Невскую газету двадцать или тридцать статей, причем сам же снабжал их фотографиями, написал две книжки для АПН — конечно же, о дружбе и сотрудничестве (к счастью, они вышли только на бирманском языке). Я собирал материалы для диссертации и фактически закончил ее. Я побывал в разных концах Бирмы нечего жаловаться! И все же.

В конце 1963 года подошло время отпуска. Обычно отпуска давали со скрипом и с опозданием, но так случилось, что передо мной уехал, завершив срок, заместитель председателя АПН, и я автоматически занял его место — из редакторов и корреспондентов перенесся в иное измерение. Мне тут же присвоили звание второго секретаря посольства и заместителя пресс-атташе, так как представитель АПН был пресс-атташе. Должность представителя АПН в те годы не была АПНовской, а замещалась сотрудниками других ведомств, и у нас она была занята майором ГРУ.

Требовался противовес, о чем я не сразу догадался.

Как только мне выдали дипломатический паспорт, меня вызвал к себе советник, резидент КГБ. Он был мил и добродушен.

— Игорек, поезжай в отпуск, отдохни как следует. Приедешь, примем тебя в партию и начнем работать — ведь ты теперь получишь допуск и как дипломат начнешь ходить на прием.

— Но я недостоин... — Тогда я еще апеллировал к гражданской совести моих оппонентов и уговаривал их не засорять партию людьми вроде меня.

— Достоин, — ответил советник. — А вот бороду придется сбрить. А то ты у нас теперь единственный беспартийный бородатый дипломат. Нехорошо. Всю жизнь проведешь на вторых ролях.

Незадолго перед тем к нам в Бирму приезжала делегация космонавтов. Я как корреспондент АПН провел с ними несколько дней и, в частности, фотографировал их для нашей газеты. Одну фотографию из подаренных Валентине Терешковой она вернула, надписав так: «Пускай жена заставит тебя сбрить бороду. Ведь достоинства человека определяет характер, а не личность». Наша гостья полагала, что личность — это нос и уши.

Я вышел от советника и понял, что его не устраивает моя личность. Характер — под вопросом. И тогда я понял, что в Бирму не вернусь.

Я был вполне лояльным советским человеком, и, когда надо было написать отчет о беседе или секретный доклад за находящегося в алкогольной, коме начальника, я покорно это делал. Но вот к новой жизни и новым обязанностям был не готов.

Я так и не вступил в партию и не сбрил бороду. Я не вступил и в Союз писателей, потому что полагал неприличным состоять в организации, идеалов которой, в частности, метода социалистического реализма и партийной литературы, не принимал. И мне всегда казались странными трагедии, которые завязывались вокруг изгнания из Союза того или иного прогрессивного писателя. А чего ты лез в эту клоаку? — хотелось спросить. Но не был знаком и потому не спросил.

Впрочем, я отвечаю только за себя. Тем более что сейчас эта проблема потеряла актуальность, и уже не приходится видеть удивление на «личности» собеседника, когда говоришь ему, что в Союзе не состоял. Потому что ленив, потому что не выношу собраний...

Я приехал в Москву, подлым образом никому ничего не сказав, чтобы не испортить себе отпуск, восстановился в аспирантуре, и лишь когда надо было возвращаться, сообщил в АПН, что выезжать за рубеж не хочу.

Это было удивительно! За многие годы существования АПН я оказался первым сотрудником, который изменил Родине наоборот.

То есть отказался бороться на переднем крае идеологического фронта и предпочел жизнь в аспирантском тылу. Знаете, какое официальное звание я получил? «Дезертир с идеологического фронта»!

А ведь если бы я стал проситься за рубеж, черта с два меня бы отпустили!

Но когда я отказался, возмущению не было предела. Заместитель председателя АПН, с которым ранее я был в хороших отношениях некоторый стал потом прогрессивным, демократически настроенным телевизионным обозревателем, начинал со мной очередную беседу со слов: «Слышал я, что у тебя плохие квартирные условия», а кончал так: «Ты ведь действительную в армии не служил! Я вот собираюсь позвонить министру обороны — как насчет того, чтобы, протрубить 3 года в солдатах?» А я, к сожалению, не знал, что в его словах правда, а что — пустая угроза. И дрожал. Но долго ли, коротко ли — плюнули на меня, и я возвратился в институт. Так я сделал еще шаг к фантастике.

Причем не только внутри, в сердце — именно во «второй Бирме» я начал писать фантастические опусы. Повесть «Русалка за 100 000» — фантастическую феерию о Бирме, «Краткую историю человечества» в фантастических миниатюрах.

Вернувшись из Бирмы в 1963 году, я продолжал писать для себя и друзей. Не очень активно, но писал. И всегда фантастику.

Не мог я писать реалистическую прозу. Не получалось.

Так что история об «Искателе», обложке и динозаврах — синтетический образ. Правда и домыслы в нем смешаны, хотя больше правды.

Дальнейший путь в фантастику лежал через Болгарию.

А путь в Болгарию лежал через город Хатангу, что по ту сторону Таймыра.

Придется объяснить подробнее.

В 1967 году я отправился в командировку от журнала «Вокруг света» по Северному морскому пути. Я рассчитывал добраться от Мурманска до Тикси, где должен был встретиться с магаданским писателем Олегом Куваевым, страшно талантливым прозаиком, автором широко известных в шестидесятые годы повестей «Берег принцессы Люськи» и «Территория». Он был геологом и рано умер, как часто умирают в Заполярье бродяги и романтики. Тогда мы с Олегом собирались устроить экспедицию на Северную землю, потому что он нашел сведения о последнем лагере экспедиции Русанова.

Я добирался до Тикси морем, а он сушей. Там мы и должны были узнать и разведать, как нам двинуться в путь на следующее лето. Забегая вперед, скажу, что экспедиция не состоялась — ЦК комсомола не дал обещанных денег.

На сухогрузе «Сегежа» меня устроили в пустующей каюте первого помощника. Была такая должность специально для загранрейсов чекист-политрук. А так как «Сегежа» шла Северным морским путем, как бы во внутренних водах, то каюта чекиста пустовала. Я делил каюту с художником, не помню уж, какого журнала, но тоже командированным. На «Сегеже» я подружился с доктором Павлышом, капитаном Загребиным и другими членами команды. Все было бы хорошо, но в Карском море мы попали в неожиданные тогда льды и сломали винт. Кое-как «Сегежа» доплелась до Диксона и там застряла надолго, потому что пришлось менять лопасти. Так что в Тикси Олега уже не было, а меня поджимала следующая командировка — в Швецию, в городок Роннебю, где проходила Пагуошская конференция и я должен был работать синхронным переводчиком.

В результате мне пришлось покинуть «Сегежу» в Хатанге. И я стал ждать самолета, чтобы промчаться над нашей страной и унестись в Швецию. В моем распоряжении оставалось всего четыре дня. Погоды не было, самолетов не было, но за четыре дня журналист обычно знакомится со всеми в пятитысячном городке, и поэтому меня в конце концов пристроили на военный борт, который летел зачем-то в Архангельск, откуда я попал в Москву и далее.

Та осень была для меня насыщенной. Осенью меня ждала еще одна поездка в Болгарию, по приглашению нашей подруги Бригитты Темпест (Иосифовой).

В промежутке между Швецией и Болгарией я придумал для себя космический корабль, который должен быть обыкновенным, как «Сегежа», и люди там должны быть обыкновенными, как на «Сегеже». Я подумал, что назову этот корабль именем земного прототипа, а главным героем сделаю Славу Павлыша.

Конечно, он не будет так уж похож на моего друга, но все-таки он окажется в чем-то близок Славе.

Это было глупое решение: с тех пор я не использовал существующих людей в качестве героев произведений, за одним исключением — профессор Минц в Гусляре. Этого делать нельзя.

Правда может служить если не оправданием, так объяснением — мое особо нежное отношение к «Сегеже» и тому путешествию, что мы совершили.

В Болгарии деньги у нас быстро кончились, но я был уже настолько наглым, чтобы, когда Бригитта привела меня в журнал «Космос», представиться писателем из Москвы. Хотя и напечатано-то у меня было всего два рассказа и несколько детских сказок.

Редактор «Космоса» Славко Славчев открыл ящик письменного стола и достал бутылку «Плиски». Для меня это было неожиданностью, так как мы пили по секрету и никогда в этом не признавались, тем более иностранцам.

Редактор Славчев поговорил со мной о жизни и фантастике и спросил, не могу ли осчастливить журнал своим новым рассказом.

Я подумал и ответил: «Могу».

Мы отправились в горный курорт Боровец, сняли там за чисто условную плату комнату в доме творчества писателей (болгарские коллеги все еще держали меня за своего). Во всю стену было окно. Оно выходило на склон горы. По обе стороны стояли могучие ели, а посредине зеленел альпийский луг, где время от времени бродили швейцарские на вид овечки. Внизу был каминный зал, в котором, как все болгарские писатели отлично помнили, произошло страшное событие.

Было это в пятьдесят шестом году. Два сценариста приехали в Боровец и никак не могли бросить пить и начать созидать.

Однажды младший из сценаристов (фамилию не называю сознательно, потому что не знаю, что за власть в Болгарии сегодня и какой она станет завтра) услышал, что из комнаты старшего сценариста доносится стук пишущей машинки. Целый час он терпел и кипел негодованием. Наконец не выдержал, ворвался в комнату к другу с криком: «Что ты там пишешь?» Друг вытащил из машинки лист бумаги, на котором буквой «ж» очень похоже был напечатан портрет младшего сценариста.

Только они собирались посмеяться, как вбежал кто-то из соседей: — В Венгрии революция!

В последующие дни вся Болгария сидела у радиоприемников, ловя вести из Будапешта. Болгария была расколота на тех, кто сочувствовал венграм, и сторонников российской жесткой линии.

Вечером одного из следующих дней все обитатели дома творчества сидели после ужина в каминной гостиной и обсуждали венгерские события. Был там и председатель Союза писателей, большой человек в государстве.

И вдруг передача оборвалась, и после короткой паузы донесся голос диктора: — Дорогие сограждане! Власть извергов-большевиков в Софии сброшена! Временный революционный комитет просит немедленно арестовать всех активных членов партии и их пособников. Смерть коммунизму! Да здравствует свобода!

Все застыли в полном оцепенении.

Тут дверь в каминную распахнулась, и на пороге появились два мрачных молодых человека в горских кожухах и с автоматами в руках. «Коммунисты, встать! — закричал один из них. — Лицом к стене.» И все писатели, включая самых преданных партийцев, вместо того чтобы встать, обернулись к председателю Союза писателей за помощью и поддержкой.

Но тот повел себя самым странным образом.

Он вскочил и принялся нервно кричать, что пошел в партию из хитрости, чтобы развалить ее изнутри, что всегда ненавидел коммунистов и готов немедленно вступить в революционный отряд, дабы истребить коммунистическую заразу в Болгарии.

Тут молодые люди некстати засмеялись, потому что были наняты специально на эту роль друзьями-сценаристами, которые им даже муляжи автоматов достали в киногруппе, что по соседству снимала историко-революционный фильм о 9 сентября.

Однако, устраивая набег революционеров, они не ожидали, что председатель Союза писателей поведет себя так бурно.

В результате пастухов, сыгравших эти роли, арестовали и посадили за хулиганство и воровство оружия, сценаристов выгнали из Союза писателей и запретили им работать в кино, но с председателем Союза писателей ничего не случилось, потому что все понимали — честный партиец стал жертвой гнусной провокации врагов мира и социализма. Пикантность ситуации заключалась в том, что младший сценарист был Героем Болгарии, каковое звание получил за то, что отважным мальчиком сражался в партизанах против фашистов, а председатель Союза такой славной биографии не имел.

Вот в том Боровце я сидел и писал карандашом свой первый «гуслярский» рассказ. Да, Великий Гусляр родился именно в Боровце. Оттуда в рассказ «Связи личного характера» перекочевала дорога в лесу как место действия. Именно там я увидел ремонтников, и мне показалось, что у рабочего, изображенного на круглом дорожном знаке, не две ноги, а три. А если дорогу чинят инопланетяне?

Написанный карандашом рассказ я отвез в «Космос». Славчев взял его и напечатал, а так как у меня не было оригинала, я этот рассказ перевел потом с болгарского. Так что мой первый гуслярский рассказ рожден вне нашей Родины.

История об автоматчиках, которую мне тогда рассказали, как и другие истории из жизни тех сценаристов, сидела во мне и свербила. И тут грянуло 7 ноября — 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции! Мы пошли на демонстрацию трудящихся и парад боевых сил.

Меня потрясла картина — шествие открывала большая толпа людей, одетых в бушлаты, шинели или армяки. Эти люди несли красные знамена и волокли за собой пулеметы, за которые время От времени ложились. Эти люди штурмовали Зимний дворец.

Правда, самого дворца не было — остальное отдавалось на волю воображения.

И вдруг во мне все сложилось, вспыхнула молния, и я понял, что хочу написать!

Я вернулся в Москву и через несколько месяцев, когда все утряслось, написал повесть «Осечка-67». В ней я представил, что в Питере решено провести юбилейно-показательный штурм Зимнего дворца и показать революцию для радио, телевидения, иностранных гостей и всех трудящихся.

Штурмовать Зимний дворец должны были дружинники, милиционеры и передовики производства. А кто будет защищать?

Решено собрать женский батальон из экскурсоводов и младших научных сотрудниц Эрмитажа, а юнкеров — из младших научных сотрудников мужского пола.

Когда об этом становится известно, сотрудники собирают комсомольское собрание и на нем, как честные советские граждане, постановляют: «Ввиду того, что в штурме дворца примут участие пьяные элементы и даже хулиганы, бесценным коллекциям, народному достоянию грозит страшная участь!» И тогда делегация из Эрмитажа мчится в обком, но обком, конечно же, клеймит комсомольцев за пораженческие настроения и даже клевету на советских трудящихся.

А комсомольцам ничего не остается, как, вернувшись в музей, сообщить о позиции ленинградских бонз своим товарищам и постановить: «Зимний дворец не отдавать! Сокровища сохранить!» А дальше начинается наш обычный бардак.

Крейсер «Аврора» садится на мель, и вместо Зимнего снаряд орудия попадает в Смольный.

Ленина (актера, загримированного под вождя) арестовывают на улице дружинники, изображающие пост Красной гвардии, приняв вождя за шпиона Временного правительства.

Комсомольцы отбивают несколько штурмов, и в конце концов актер, играющий Керенского, берет вдасть в стране, а Политбюро во главе с Брежневым после тщетной попытки забросать Ленинград атомными бомбами, уходит в отставку.

Повесть я написал и с ней перешел в стан авторов социальной фантастики.

Правда, никто, кроме близких друзей, об этом не подозревал.

Да и боялся я ее показывать кому-нибудь.

Отношение к социальной фантастике становилось все хуже.

В семидесятые годы в «Молодой гвардии» разогнали замечательную редакцию Жемайтиса, где фантастика и выходила. На место Жемайтиса, Клюевой, Михайловой пришли бездарные устрашители и уничтожители, для которых имя Стругацких было бранным словом. Они старались подмять под себя всю фантастику в стране, чтобы никто, кроме «своих», печататься не смел. Помню, как в момент очередного перехода власти Светлана Михайлова, бывший редактор «Молодой гвардии», ушедшая после разгона редакции в ВААП, предложила мне отправиться вместе с ней к новому шефу, чтобы узнать, чего он хочет. Разговор был доброжелательным, тихим, и ободренная приемом Светлана спросила заведующего: как он относится к социальной фантастике? И тогда шеф посмотрел на Светлану строгим комсомольским взором и ответил с легкой улыбкой:

— Я делю социальную фантастику на две части. Первую я отправляю в корзину, вторую в КГБ.

После этого мы откланялись, а вскоре я получил замечательную рецензию на мои повести, которые тогда лежали в издательстве. В рецензии на «Чужую память», в частности, говорилось: «Мы знаем, на что намекает автор, когда пишет, что над Красной площадью ползли темные тучи». На «Белые крылья Золушки» рецензию написал сам Александр Казанцев, который объяснил, что моей тайной целью является дискредитация советских космонавтов.

Я не мог и не хотел спорить и сопротивляться — в то время я стал «детгизовским» автором и много работал в кино. Настаивать же на том, чтобы меня печатали в «Молодой гвардии», я не мог — за моей спиной не было Союза писателей — к коммунистической партии.

Что же касается «Осечки», то ее судьба удивительна.

За прошедшие с тех пор годы я написал «в стол» много повестей и рассказов. По натуре своей я не боец. Раз уж я жил в нашей стране, то ходил на работу в институт и был уверен, что помру при недостроенном социализме. Как и любой фантаст — я не пророк.

«Осечка» пропала. Кому-то дал почитать, кто-то не вернул, а последний экземпляр пришлось уничтожить, потому что ночью должен был состояться обыск по «Делу нумизматов», но я больше боялся, что у меня найдут «плохие» рукописи и журнал «Континент».

Прошло много лет, я даже забыл об этой повести, и вдруг мне лет шесть-семь назад сообщили из Питера, что моя повесть, оказывается, лежала в бумагах моего друга, рано умершего питерского режиссера Ильи Авербаха, создателя таких замечательных фильмов, как «Чужие письма» и «Монолог». Оттуда она попала в питерский журнал, который ее напечатал, а на Петербyргском телевидении, раз уж разыгралась перестройка, решили сделать фильм.

Фильм был завершен осенью 1993 года. Режиссер рассказывал мне, что актеры подыскивались с трудом. И не только потому, что денег не было, но и оттого, что актеры боялись сниматься в ленте, ибо «когда коммунисты вернутся к власти, им не поздоровится».

Фильм «Осечка» показали по питерскому телевидению в ночь с 3 на 4 октября 1993 года. Повторили 7 ноября. С тех пор показывали каждый год в Октябрьские праздники. Что мне приятно сознавать.

Должен признаться, что диалектически в любом положении, даже невыгодном, есть свои выгоды.

Я, например, извлек в жизни немало приятного из своего неучастия в Союзе писателей.

Как-то в середине 70-х годов меня позвал к себе заместитель председателя ВААП (Агентство по авторским правам, отбиравшее деньги, которые писатели получали за публикации за рубежом) Щетинин и сказал: — Как вы смотрите на то, чтобы поехать с Клюевой в Штаты?

Я захлопал глазами — мне такое явно не по чину!

— Поймите меня правильно, — доверительно сказал начальник. — Нам нужен человек, чтобы разговаривал с американцами и участвовал в рекламной кампании в Штатах. Если мы обратимся в Союз писателей и попросим отпустить Аркадия Стругацкого, то руководители Союза сделают финт ушами, и в результате мы получим одного из секретарей. Без языка, без знания дела, зато жадного и пузатого.

Может, Щетинин, человек осторожный, говорил не совсем так, но смысл я передаю точно.

И я поехал в Штаты, причем ездил дважды по секрету от писателей. И честно трудился переводчиком, агентом по рекламе и добровольным помощником ВААП. Таким образом, государство вернуло мне часть денег, которые отобрало.

Пока для меня не закрылась заграница из-за участия в «Деле нумизматов», я побывал еще в нескольких странах — не только от ВААП, но и потому, что в Польше моих книг издавалось немало и у меня там был близкий друг переводчик Тадеуш Госк.

Мы и ездили с ним друг к другу.

В Кракове я был наконец обласкан судьбой.

Мы с Тадеушем пошли в букинистический магазин, где торговали американскими книжками — страшно дефицитным в СССР товаром.

— К сожалению, иностранных книг сегодня нет, — сообщил хозяин, — потому что пан Станислав Лем, который их нам сдает, давно не заходил.

И тогда Тадеуш, чтобы показать, что и мы не лаптем щи хлебаем, сообщил хозяину, показывая на меня:

— А вот это тоже писатель. Советский писатель-фантаст.

И тут глаза хозяина магазина засверкали, лицо озарила добрая улыбка, какая озаряет лицо нигерийского докера при виде фотографии Ильича, и он, протягивая мне обе руки, воскликнул:

— Добро пожаловать, пан Стругацкий!

В моих путешествиях в Америку мне удалось встретиться и с американскими писателями. Сейчас этим никого не удивишь — они сами к нам шастают и еще денег просят. А тогда, в семидесятые годы, имена писателей были известны только из публикаций издательства «Мир», и когда я попал на конференцию в Нью-Йорке, то приседал от почтения, как провинциальный трагик в Александрийском театре.

Со мной за руку поздоровался Азимов, со мной беседовал Харлан Эллисон, я слышал Саймака, спорил (так обнаглел) с Фредериком Полом, выступал на радио вместе с Лестером дель Реем, приятельствовал с Джеймсом Ганном, но главное — целые сутки пил с Гордоном Диксоном и Беном Бовой, не говоря уж о его славной красавице жене — Барбаре Бенсон.

Потом все эти связи порвались — не умею я их поддерживать. Остались Бен Бова и Джеймс Ганн. Да двадцать книжек Горди Диксона, которые тот притащил мне на прощание.

Я не думал, что попаду в кино.

Случилось это в 1976 году. Одновременно мне позвонили два режиссера. Роман Качанов с «Мультфильма» предложил поставить полнометражную ленту по повести «Путешествие Алисы». А Ричард Викторов после успеха его двухсерийного фильма об отроках во Вселенной решил вернуться к фантастике.

С Ричардом Викторовым мы встретились так. Он позвонил мне и позвал на премьеру его фильма. Помню, что премьера проходила в Доме литераторов, где я никогда раньше не был, меня схватили на входе вахтерши и долго не пускали, а Ричард, появившийся наконец, чтобы меня спасти, был потрясен тем, что существуют писатели, которые не бывали в таком месте.

Я тоже был удивлен видом Ричарда, так как представлял себе режиссеров совершенно иначе и даже имел опыт актерской работы в кино, что случилось незадолго до описываемой встречи с Викторовым.

Мои друзья — Слава Шалевич сотоварищи, молодые и весьма небогатые актеры, жили в одной громадной коммуналке в стареньком доме, прилепившемся к их театру Вахтангова. И когда ребят позвали играть в фильме «Хоккеисты», они взяли меня с собой. У меня только что отросла бородка, так что за отсутствием актерских данных режиссер заставил меня изображать скульптора (конечно же, с сомнительной бородой) и держал в кадре на фоне портрета Хемингуэя, полагая, что это смешно. За это я сорвал ему съемки, используя приобретенный недавно в Бирме опыт хироманта. Свободный от съемок, я сидел в сторонке, гадал актерам и членам группы по руке, что им было куда интереснее, чем работа. В конце концов, мне пришлось покинуть площадку, и актера из меня не вышло.

Так вот, на той картине был настоящий режиссер: он бегал, кричал, командовал и вел себя адекватно.

Ричард сильно хромал, у него было массивное тело, лицо доброе, но всегда серьезное и задумчивое; внешне он был сдержан, а внутри кипел от страстей, увлечений, мыслей и идей.

Жизнь обошлась с Викторовым сурово, но это никак не испортило ему характер.

Мальчиком он заболел костным туберкулезом, и летом сорок первого года его отправили в Крым лечиться в санаторий.

А вывезти не смогли.

Когда пришли немцы, Ричард отступал вместе с нашими войсками. В Керчи он лежал у пулемета — там уже не приходилось разбираться, кто взрослый, а кто ребенок. На одном из послед, них катеров его, тяжело раненного в ногу, вывезли в Новороссийск. Затем — в район Теберды, в больницу. Туда вскоре тоже прорвались немцы, и детей уводили по горным тропам.

Все эти месяцы мать искала его, не веря, что мальчик погиб.

Она разыскала сына в Баку.

К тому времени, когда Ричард пригласил меня в Дом литераторов, он уже прославился двумя фантастическими фильмами для детей — «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». В те годы (впрочем, и в последующие) они были лучшими фильмами подобного рода в нашей стране.

Мы подружились — с таким хорошим человеком нельзя было не подружиться. И сценарий двух фильмов написали хоть и не быстро, но без конфликтов.

Работа с Викторовым для меня связана с Ялтой. С разными временами года, с Чайной горкой — общежитием Ялтинской студии, гостиницами, от шикарной по тем временам «Ялты» до общежитий в блочных пятиэтажках на крутых склонах ялтинских окраин.

Самой запоминающейся поездкой была первая, когда мы писали киносценарий «Через тернии к звездам». Писали вчетвером: я, Викторов, художник Загорский и оператор Антипенко. Все чудесные люди, но мне с ними было тяжело.

И вот почему.

Они жили наверху, на Чайной горе, где находился студийный дом, вернее, общежитие. Я же остался внизу, на набережной, в моей родной «Ореанде».

Беда заключалась в том, что Викторов в те недели питался только овощами. Очищал организм от мясной скверны. Костя Загорский проходил «сыроядский» этап в своей биографии, то есть ел только сырые овощи. Но всех перещеголял Антипенко, который голодал «по Брегту».

К девяти я поднимался на крутую гору, цвела глициния, пахло морем, утром было прохладно, и подъем не казался трудным.

Мы садились работать.

На столе стоял поднос с морковкой, салатом и редиской. Работали мы до трех, и желающие грызли морковку. К трем часам, когда кончали это занятие, я доходил до точки.

Попрощавшись, Загорский с Ричардом шли соображать себе скромную растительную пищу, а Антипенко брал большую бутыль, чтобы купить на набережной в аптеке дистиллированной воды — единственное, что ему разрешил употреблять Брегг. Мы спускались до набережной минут десять — пятнадцать, и весь этот путь Саша рассказывал мне о работе своих внутренних органов голодающих эти проблемы живо волнуют.

Пока мы брели вниз, я узнавал последние сводки с поля боя: и цвет испражнений, и оттенки мочи, и состояние ишаков — все волновало этот мощный ум!

На набережной мы прощались с Антипенко, он уходил к аптеке, а я мчался в ресторан, где в пустом зале меня уже ждал бифштекс и сто граммов водки.

И я приходил в себя. Все это чуть не кончилось трагически.

Когда через месяц голодания Саша стал выходить из него, то он что-то не так сделал и угодил в реанимацию. К счастью, откачали...

Киногруппа почти всегда похожа на своего режиссера, как собака на старого хозяина. Викторовская группа была солидной, семейной, в ней не ломались тонвагены, не пропадали в запой осветители, а актеры не дрались в ресторанах. Вечером Ричард садился к телефону и подробно выяснял со своими детьми Аней и Колей, оставшимися в Москве, что сегодня было в школе, что задали и что предстоит завтра. Я сочувствовал его ребятам, но семейство, включая маму Ричарда, которая жила в том же доме и на том же этаже, было настолько дружным, что слезы, если и бывали, оставались невидимыми миру. А если случалось, что мы, примкнувшие к группе, загуливали и возвращались в гостиницу в час ночи, то всегда рисковали увидеть Ричарда на балконе. Молчаливого, глядящего на звезды и ни в чем нас не упрекающего.

Мы переходили на бег трусцой и охваченные стыдом и ужасом разбегались по комнатам.

Через несколько лет мы возвратились в Ялту, чтобы дописывать сценарий и снимать новый фантастический фильм «Комета». Несчастливый, неладный, убивший Ричарда и оставшийся практически неизвестным. Хотя по тем временам мы с Ричардом старались сказать в нем куда больше, чем было положено, и если бы не болезнь Ричарда, наверное, фильм стал бы событием. Недаром Госкино сразу же потребовало фильм целиком переделать.

Никто не знает, что «Комета» оказалась чемпионом страны по числу режиссеров, которые в нем сыграли. В Крыму летом немало групп или вольных кинодеятелей. Ричард загорелся идеей всех их задействовать в нашем фильме. Так что там играли В. Басов, Ю. Чулюкин, П. Арсенов и так далее.

«Комета» интересна мне и сегодня как попытка осмыслить сюжет-катастрофу, не новый в фантастике, но на нашем российском материале; увидеть, к какому идиотизму приведет эта ситуация в одном отдельно взятом Советском Союзе. Задано: к Земле летит комета (а задумали мы фильм, когда к Земле летела комета Галлея). Все ученые, комментаторы и знающие люди уговаривают наш народ, что комета ничем страшным не грозит.

А на берегу Крыма, в курортном городке всех охватывает паника. Доведенная нами до бескрайнего идиотизма. Оказывается, никакая комета не сравнится по опасности с нами самими...

Мы сделали «Комету», и в последний день съемок Ричарда поразил инсульт. Викторов прожил еще полгода, но так и не пришел в себя.

А на материал фильма накинулось Госкино. Дело в том, что режиссеры не любят показывать чужим людям, а тем более начальству сырой, несмонтированный, неозвученный материал, потому что чужие люди, а тем более начальство, воспринимают «полработы» как окончательный продукт. Без Ричарда с его пробивной силой фильм оказался осиротевшим. Госкино накидало полную корзину убийственных замечаний, утверждая, что советским людям несвойственно паниковать и питаться слухами, и требуя снять реплику попавшего в кораблекрушение узбека: «Даже чаю нет!" — как намек на нехватку некоторых товаров в торговой сети.

С намеками всегда плохо. Они называются научным словом: «аллюзия». Под аллюзию можно подвести что угодно.

Я позволю себе отвлечься и вспомнить о драме, имевшей место в журнале «Химия и жизнь» именно из-за очередной аллюзии.

Шла статья о биодобавках в корм скоту. Над заголовком был нарисован грузовик, едущий на читателя, в кабине сидели счастливые свинья и корова, а сам грузовик был с верхом гружен мешками с этими самыми добавками.

Когда журнал уже был в производстве, кто-то вспомнил, что надвигается очередной съезд нашей любимой партии. И тогда по требованию редактора над заголовками всех материалов номера появилась надпись: «Навстречу двадцать какому-то съезду КПСС!» Все было хорошо, но чин в ЦК, который курировал популярные журналы и пролистывал их перед выпуском, посмотрел на картинку, где ехали свинья и корова, а над ними было написано: «Навстречу...», перепугался, побежал к заведующему сектором, тот бросился к заведующему отделом. Не знаю, рассматривали ли вопрос на Политбюро, но этот казус послужил одной из причин изгнания из журнала милейшего и умнейшего заместителя главного редактора Черненко (главный — академик Петрянов-Соколов — был существом олимпийским и появлялся в редакции в торжественные дни). Решение ЦК гласило: тираж отправить под нож! То есть все 400 тысяч экземпляров!

История зловеще повторялась — вспомните эпизод с «Искателем».

И тогда редакция, чтобы спасти журнал, обратилась ко всем авторам и друзьям журнала отправиться в город Чехов и там принять участие в операции: вырезать из номера злополучную страницу и вклеить на ее место другую, без свиньи и коровы.

Несколько дней, сменяя друг друга, мы работали в Чехове.

Ударным трудом мы спасли журнал от участи худшей, чем смерть.

Кстати, в соседнем цехе то же самое происходило с журналом «Работница» (а может, «Коммунальное хозяйство» — не помню точно). Там на обложке были сфотографированы работницы передовой прачечной. В ЦК КПСС заметили, что на груди одной из прачек поблескивает нательный крестик. Обложку содрали. Подозреваю, что сотрудника ЦК, принявшего это решение, сегодня можно встретить в церкви.

Ни в одной антиутопии никто из фантастов ничего подобного придумать не смог. Возможно, это и послужило причиной современного кризиса фантастики: наша действительность всегда была фантастичнее вымысла!

А что касается «Кометы», то нам дали другого режиссера, которому за эту работу посулили заграничную командировку, может, даже съемки в Кении, если он перевернет фильм с ног на голову и сделает слабого, несчастного и неустроенного героя человеком сильным, справедливым и партийным.

Дальше начался шантаж. Оператора фильма Рыбина и меня вызвали куда надо и дали понять, что если мы откажемся участвовать в «поправках к фильму», то картину положат на полку, и семья Викторова, который был человеком бескорыстным и небогатым, вообще останется без средств к существованию — и его жена, и двое детей. И мы с Рыбиным сдались.

Я писал новые тексты и сидел целыми днями с Аленой Аникиной, умевшей подгонять тексты к движению губ, что важно при синхронном переводе фильма, и разминали фразы и слова, которые должен был произнести Александр Кузнецов вместо тех, что произносил ранее.

Надежда Семенцова, жена Ричарда, была на нас сердита, и справедливо сердита, потому что для нее важнейшей была память о муже.

В конце концов фильм закончили, он вышел в нескольких копиях, и его никто не видел. Правда, в последние год-два его показали по телевидению.

Второй режиссер, который появился в моей жизни одновременно с Викторовым, был Роман Качанов.

Это был шумный, веселый, говорливый жизнелюб с записной книжечкой, куда он заносил собственные острые мысли и анекдоты. Он ловил тебя в коридоре и раскрывал книжечку. Тут тебе и приходил конец.

Роман решил сделать «Путешествие Алисы», позже названную «Тайна третьей планеты», — первую крупную повесть о девочке из XXI века.

Фильм был полнометражным, что на «Союзмультфильме» происходило нечасто.

К тому времени Качанов стал звездой «Мультфильма». Правда, в причинах мнения расходились. Сам Роман считал, что это из-за его гениального фильма «Варежка»; остальные жители нашей страны куда лучше знали фильмы о Чебурашке.

Работать с Качановым было интересно, даже весело, я любил его группу, художников, мультипликаторов. С ними мне пришлось потом работать и на других фильмах. Хотя он для совместного труда был не сахар. Упрям, как толстый избалованный малыш. Если Качанов в чем-то убежден, он никогда не станет с тобой спорить. Все равно сделает по-своему, несмотря на то, что все его близкие соратники категорически возражают и приводят разумнейшие аргументы.

Когда Качанов делал второй фильм по моей повести, он был уже болен и завершил картину с трудом. «Два билета в Индию» — мало кому известный фильм, может, потому что в нем не удалось придумать персонажей, подобных Алисе, Зеленому и Громозеке, в значительной части рожденных фантазией талантливейшего художника Наталии Орловой.

Из мультипликационных опытов, о которых стоит упомянуть, интересен фильм «Перевал» Владимира Тарасова. Громадный человек Тарасов, на мой взгляд, всегда был слишком велик для мультипликации. Он даже в узких коридорах и комнатушках «Мультфильма» умещался с трудом. Он много сделал для современной отечественной фантастики в ее анимационном варианте[Статью о творчестве В. Тарасова см. в «Если» № 8 за 1999 год. — Прим. ред.]. Но с тем, как он снял «Перевал», я не совсем согласен. Может быть, Тарасов слишком положился на необычный ход. «У меня в группе работают два доктора наук, — говорил он. — Кир Булычев пишет сценарий, а Анатолий Фоменко, математик, рисует».

Фильм получился формальным, графика Фоменко живет в нем сама по себе, текст — сам по себе, а история путешествия к кораблю отступает на второй план.

Разговоры о «Перевале» шли с разными режиссерами, но так ничего больше и не вышло. Мне жалко, что именно этот фильм не состоялся. А кажется, что его можно было сделать.

...Если история с «Кометой» печальна и драматична, то судьба фильма «Золотые рыбки» Александра Майорова трагикомична.

Фильм был дебютным, получасовым и снимался по моему гуслярскому рассказу «Поступили в продажу Золотые рыбки».

В том рассказе Золотую рыбку, исполняющую желания, можно было купить в зоомагазине. Таким образом, весь город получил возможность выразить свою волю, и некоторые из его жителей, чтобы не утруждать себя, превратили водопроводную воду в водку. По этому поводу в фильме возникло несколько забавных сцен.

Хотя, клянусь, к алкоголизму он не призывал.

Фильм был готов и сдан как раз в день выхода судьбоносного постановления Политбюро о борьбе с алкоголизмом, того самого, лигачевского, по которому вырубали лозу в Крыму.

Разумеется, «Золотые рыбки» были немедленно запрещены.

И не увидели экрана. А жалко. Неплохой был фильм.

Ближе всего к славе я приблизился после выхода на телеэкраны пятисерийной картины режиссера Арсенова «Гостья из будущего». Главную роль там играла очаровательная Наташа Гусева.

И получилось так, что ее полюбили сто тысяч мальчишек.

Всем захотелось с ней познакомиться, ходить с ней в кино и делать уроки. Мальчики писали письма, Студия имени Горького была этими письмами завалена по уши, среди писем были перлы мальчишеской изобретательности, вроде такого: «Дорогой режиссер! Я люблю вашу картину, но еще больше я люблю Наташу Гусеву. Если вы сомневаетесь в моих чувствах, я могу и жениться. Коля К. 6 класс „Б“.

Насколько мне известно, любовь такой оравы молодых людей — не лучшее приобретение. Если не отвечаешь взаимностью, поклонник может и снежком в тебя бросить, или того хуже. Чуть ли не до восьмого класса бабушке и маме приходилось провожать Наташу в школу и встречать ее. Потом она все же сдалась перед натиском самого упорного из воздыхателей. И вышла за него замуж, но не в шестом классе, а в институте. Но если мне самому приходилось выступать перед детской аудиторией, то стоило произнести слова о том, что я писал сценарий фильма «Гостья из будущего», как по залу прокатывался восхищенный гул. И я понимал, как мне повезло в жизни: я был знаком с Наташей Гусевой и в любой момент мог пригласить ее в кино или кафемороженое.

Самым экзотическим фильмом из всех, что были сняты по моим работам, оказались «Районные соревнования по домино».

Это рок-опера. Я его видел только раз, когда режиссер со Свердловской студии сдавал картину. Дальнейшей судьбы фильма не знаю. Стоит, наверное, сказать, что по крайней мере два фильма снимались по два раза. Сначала в Ленинграде был поставлен двухсерийный телефильм «Похищение чародея». Затем через десять лет его еще раз сняли на Свердловской киностудии. Режиссер первого бережно относился к тексту повести, что и повредило фильму. Второй режиссер половину фильма пустил на боевые сцены штурма средневекового города. Что тоже повредило.

Смешнее было с повестью «Умение кидать мяч». Сначала ее сняли на «Узбекфильме» под названием «Это случилось в субботу» (может, понедельник не помню точно). В повести герой обладает абсолютным даром управлять своими движениями. Получает он такую способность, приняв таблетку. И вот герой, толстый, низенький сорокалетний инженер, начинает играть в баскетбол, поскольку попадает мячом в кольцо из любого места на площадке. Получается трагикомедия. О несоответствии способностей человека его желаниям... Когда сценарий, написанный Французовым и Шлепяновым (последний скрылся под псевдонимом), сдавали на студии, руководство запретило упоминать о таблетке, так как это — типичный допинг, с которым мы все боремся. Поэтому у толстячка, оказывается, был талант от Бога, а в конце фильма он делится своим опытом с подрастающим поколением.

Вторично этот фильм сделали в Москве, объединив с рассказом «Летнее утро».

Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать о моих попытках создавать фильмы. Заметного следа в кинематографе я не оставил, но значительный кусок своей жизни, лет десять, провел в мире кино.

Если спросить меня, какие моменты в кинематографической карьере мне более всего запомнились, я ответил бы, что удивительных и очень романтических приключений у меня не состоялось, так как сценарист — человек как бы примыкающий к группе, но не равноправный ее член, его встречают на аэродроме, но редко провожают. Надо трезво оценивать свое место в этом процессе, тогда не будет разочарований. И не следует проклинать режиссеров за слабые фильмы по вашим сценариям. Почти всегда сам сценарист и виноват.

Пожалуй, могу вспомнить одно потрясение.

Майоров снимал «Золотых рыбок» в Калуге. Он попросил меня приехать, и когда я добрался до гостиницы, группа уже уехала на съемки. Мне объяснили, как пройти к реке.

Улица скатывалась к Оке круто и живописно. В конце улицы сверкала река, а у берега стояла пристань. Обыкновенная речная пристань. С обыкновенной вывеской «Великий Гусляр».

«Странно, — подумал я. — Откуда-то мне известно это название... Но почему Великий Гусляр? Я же в Калуге!» И тут я понял — я же придумал этот город! Его не существует.

А пристань существует. Потому что в том воля кинематографа!

Мое сочинение на тему, как стать фантастом в нашей стране, завершается, потому что возникает опасность повторений.

Хотелось бы поговорить напоследок о том, что произошло с фантастикой и соответственно со мной в последние годы.

Начиная с момента создания современной фантастики, выкованной руками Стругацких и Ефремова, а затем и плеядой фантастов-шестидесятников Варшавским, Громовой, Нудельманом, Полещуком, Михайловым, Альтовым и Журавлевой, Войскунским и Лукодьяновьш, Гансовским, Биленкиным (простите, если кого-то пропустил), в ней бурлила, все откровеннее, идеологическая борьба. Явление шестидесятников, как в обществе в целом, так и в литературе и искусстве, яркое и революционное, начало размываться и исчезать под гнетом «советской контрреформации». Семидесятые годы — крушение надежд и окостенение идеологических идолов. Ведь фантастика, которую творили Стругацкие и их друзья, была ужасна тем, что ставила под сомнение волю партии. Только партии в нашей действующей модели антиутопии дозволено было знать, каким будет тот самый коммунизм, к которому мы стремились. А партия, если вы внимательно прочтете литературу советской эпохи, совершенно не представляла, что это за зверь — коммунизм и что мы будем с, ним делать.

При определенном ослаблении диктата идеологических органов после XX съезда партии появились писатели нашего цеха, которые захотели сами разобраться в том, что же нас ждет.

А как только начинаешь разбираться, оказывается, что будущее невозможно изобразить одной розовой краской. Иван Ефремов честно старался заглянуть в коммунизм, победивший во всей Вселенной, и остаться оптимистом. «Туманность Андромеды» партийная критика носила на щите, но на самом-то деле — с оглядкой. И, отворачиваясь, идеолога сплевывали и воротили рожи — у Ефремова получился сомнительный оптимизм.

Затем через год-два пришли Стругацкие. И что бы они ни говорили о светлом будущем, какие бы коммунистические реалии ни старались поначалу изобразить, даже самому недалекому идеологу становилось ясно: наваливается угроза пострашнее американских опусов об атомной войне. Стругацкие писали о будущем нашей державы, на самом-то деле, по-моему, совершенно не веря в коммунизм и давая понять своим читателям, что те его не дождутся.

Недаром так скоро и безусловно Стругацкие стали кумирами младших научных сотрудников — мыслящей части нации.

До конца шестидесятых, все более стервенея, официальные критики делали вид, что ничего особенного не происходит. В это десятилетие Стругацких активно издавал не только умеренно-либеральный «Детгиз», но и «Молодая гвардия», в которой до поры до времени власть оставалась в руках Жемайтиса и его сотрудниц.

Именно ЦК ВЛКСМ и понял, как только память о хрущевской оттепели скисла и растворилась в национал-коммунистических воплях, что надо перекрыть кислород «циникам и нытикам», которые уничтожают веру в светлое будущее.

Редакцию Жемайтиса разогнали и набрали вместо старых редакторов комсомольских мальчиков, готовых на все ради карьеры: как правило, бездарных писателей, неумных интриганов, которых отличала хорошая комсомольская злоба, умение войти в роли союзников не только в ЦК комсомола, но и в Госкомиздат и главный ЦК. И там, где Стругацких не могли разоблачить и потоптать, в ход шла клевета и низкая сплетня, например, обвинение в том, что они «навели» чекистов на дом Ефремова после его смерти и стали инициаторами обыска в квартире Ивана Антоновича. Кстати, уже в наши дни стало известно, что Ефремова много лет числили в английских шпионах и «пасли» совершенно официально. Я помню, как мне «достоверно» рассказывали солидные люди, что Стругацкие уже собрали чемоданы и уезжают в Израиль — и эта сплетня использовалась в качестве оружия надежного рода: «Как можно их издавать, если всем известно, что они уже предали Родину?» С годами Стругацким становилось все труднее печататься.

Из-за попыток напечатать их повести уничтожили журналы «Ангара» и «Байкал». Но эффект, как и положено в нашей стране, был обратным. Сколько мне приходилось видеть машинописных копий их произведений!

Мое поколение фантастов я бы назвал вторым после «Стругацкого призыва». Мы опоздали всего на пять — семь лет, но первые наши рассказы были напечатаны к концу шестидесятых годов, то есть на закате оттепели. А вскоре по нам ударила волна репрессий «мягкого типа». Или ты будешь писать как положено, или не будешь печататься.

Мы были менее талантливы, чем Стругацкие, но печататься хотелось так же, и ттоэтому поколение искало паллиатива.

Мы не замахивались на мировые проблемы и судьбы цивилизации. Но при том никто из нас не воспевал коммунистические идеалы. Жили в своих экологических нишах, но не подличали. Биленкин и Михайлов осваивали космос и искали там ответы на свои вопросы. Парнов с Емцевым большей частью ограничивали себя миром науки. Роман Подольный иронично шутил, Ларионова, Мирер и Шефнер решали моральные проблемы... Конечно, я упрощаю — все писатели второго поколения были сложнее, чем можно сказать в одной фразе. Но при том локальнее, чем их предшественники.

Что любопытно, за все последующие десятилетия после 1960 года в среде «молодогвардейцев» не выросло ни одного писателя, если не считать Сергея Павлова, которого, за неимением прочих достижений, борцы за истинный коммунизм превратили в свое литературное знамя. И это тем более удивительно, что на стороне правоверных комсомольцев были все типографские мощности державы, призванная кричать «ура» критика и издательские редакторы, готовые подправить, дописать, улучшить, как Николая Островского.

Я начал писать во второй половине шестидесятых годов, первая книга «Последняя война» — вышла в 1970 году, первая книга рассказов (в том числе гуслярских) — в 1972-м, а первая книга о девочке Алисе — в 1974-м.

То есть я придумал себе (или они сами придумались) направления: это юмористическая, пародийная фантастика в новеллах о городке Великий Гусляр; фантастика обыкновенная, которая чаще именуется «научной фантастикой»; и, наконец, фантастика для детей — повести об Алисе Селезневой.

Постепенно я завоевал репутацию «доброго сказочника». Это была утомительная репутация, потому что в те годы я мог издаваться лишь в «Детской литературе», а если просил вставить в план книгу взрослой фантастики, заведующая редакцией Майя Брусиловская печально вздыхала: Игорь, пойми, в очереди на издание стоят десятки достойных фантастов, и все пишут для взрослых. А вот в детской фантастике у нас пробел — только Крапивин да ты. Напиши еще одну книжку про Алису, и мы ее в будущем году издадим.

Вот я и сдавался, потому что предпочитал опубликовать оптимистическую детскую книжку, чем не публиковать ничего.

Но в одном я был тверд — и если не верите, пролистайте мои книги семидесятых и восьмидесятых годов: я не верил в торжество коммунизма и в его блага. Я не только сам не хотел вступать в партию, но и мои герои, живущие в будущем, об этой партии не знали. Я не участвовал в кампаниях, семинарах и боевых действиях, не голосовал и не изгонял. Зато и меня нельзя было ниоткуда изгнать.

Правда, на рубеже девяностых годов, когда система рушилась, Эдуард Хрупкий, бывший тогда председателем совета по приключенческой и фантастической литературе Союза российских писателей, позвал меня участвовать в комиссии в качестве его заместителя по фантастике, чтобы какие-нибудь плохие люди не захватили этот пост. «Но я же не член СП! пытался я отговориться. — Это все равно что стать секретарем райкома, не будучи членом партии». «Это ненадолго, — решительно ответил Хрупкий. — Я знаю, что делаю».

Моя общественная деятельность в роли беспартийного секретаря райкома завершилась скоро. Бывшие еще в силе молодогвардейцы тут же организовали мое уничтожение, и в Союз пошли письма и телеграммы из провинции с требованием навести порядок. Я помню элегантное письмо от имени красноярских писателей, подписанное их главой, в котором, в частности, говорилось: «Кир Булычев человек неизвестной национальности, окруживший себя лицами всем известной национальности».

...Мы все время от времени рвали на груди тельняшки и восклицали: «Вот наступит свобода, тогда мы будем писать, что хотим, будем печатать, что считаем нужным, а кроме того, в нашей стране откроются десятки замечательных фантастических журналов!» Но в то же время, как я, так и мои коллеги, до конца восьмидесятых годов были уверены, что проживем жизнь и умрем при продвинутом социализме в Советской империи.

И вдруг все рухнуло.

И не стало империи.

И мы бросились к письменным столам?

Ничего подобного.

Возникли два фактора, которые стали совершенно неожиданными и решающими для будущих событий.

Во-первых, сами события в стране оказались настолько фантастичны, что превзошли даже ту антиутопию, в которой мы раньше проживали.

Во-вторых, открылись двери, и в страну хлынула могучим потоком американская массовая литература, американское массовое кино. И этот поток в мгновение ока смел с лица Земли наши фанерные домики.

Мы-то думали, что наш, советский читатель — самый умный, благоразумный и интеллигентный в мире.

Оказалось, что постсоветский человек — существо, чуть-чуть обогнавшее в развитии неандертальца, и хочет читать лишь «крутые» триллеры.

Любопытно, что в нашем открытом, свободном мире в первые год-два его существования появилась лишь одна фантастическая повесть с попыткой заглянуть в будущее страны, но написана она была не «своим», фантастом, а человеком со стороны, журналистом Кабаковым. Называлась она «Невозвращенец».

А фантасты моего поколения пытались и пытаются по сей день создавать либо плохие копии американской массовой продукции, как фантастики, так и фэнтези, либо топтаться на позициях восьмидесятых годов. Их примеру, как правило, следует и молодежь.

Так что пока (временно, полагаю) отечественная фантастика обитает на заднем дворе. Журнал фантастики только один, тиражи книг упали до ничтожной отметки. По крайней мере у меня, писателя достаточно типичного, они сегодня примерно в двадцать раз ниже, чем десять лет назад.

В чем-то — вернее, во многом — мы сами виноваты.

В шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы читатели обращались к отечественной фантастике в поисках ответов на вопросы насущные, болезненные, тщательно вычитывали между строк спрятанное от цензуры. Любая альтернативная реальность была враждебна коммунистической действительности.

Именно этот читатель ушел от фантастов, потому что сегодня он не ждет от них ответа и не верит в то, что фантасты его знают.

Русская фантастика всегда рассказывала о земных и близких проблемах. Она жила в традициях Гоголя и Булгакова.

Потому и Булгакова не печатали, и Стругацкие были отвратительны власти.

Действительность оказалась куда удивительнее и более непредсказуемой, чем фантастика. Талант, способный осознать этот процесс, еще не пришел. Вряд ли можно ждать решающего прорыва от уже написавших свое фантастов. Будущие Стругацкие и, может, даже Булгаков не востребованы, ибо пока не требуются.

Поэтому таланты крупные, подобно Пелевину, уходят на боковые дороги постмодернизма или чепуховины.

Происходит торможение, потому что иные таланты поглощает коммерческая литература. Писать «под американцев», «под Толкина», «под кого-то еще» стараются люди молодые, некоторые даже небесталанные. Идут на это ради заработка и способные писатели старшего поколения.

Можно заработать пока больше на «крутой» литературе, но у меня есть ощущение, что маятник общественного вкуса, который резко качнулся к масс-культуре, сейчас пошел обратно.

Некоторые издатели говорят, что интерес к «боевым роботам» и прочей американской дребедени падает. Зато растет интерес к фантастике как существенной составляющей русской литературы.

Причем этот интерес виден и за рубежом. Если после 1990 года как отрезало переводы русской фантастики в Польше или Чехии, то в последние два года в Восточной Европе (в первую очередь) вспомнили о существовании русских писателей. И снова начали нас переводить и издавать. Даже уж на что самостийная Прибалтика — но и она стала понемножку переводить русских авторов.

Так что я смотрю в будущее нашей фантастики со сдержанным оптимизмом. К сожалению, накопление фантастических, антиутопических синдромов в России и в мире в целом идет слишком интенсивно: что же раньше — возродится и пойдет дальше фантастическая литература в России или сама Россия погибнет, потянув за собой в пропасть весь остальной мир? И тогда литература никому не понадобится.

Я не верю в то, что красота спасет мир, или в преобразующую роль искусства и литературы. С каждым годом процент людей на Земле, на которых хотя бы теоретически может оказать благоприятное влияние литература, уменьшается.

И все же определенную лепту в спасение человечества литература внести может. Пусть небольшую. Но мы же не знаем, когда, чего и сколько нам понадобится. Предупредить, успокоить, показать пример...

В России литература всегда играла большую роль, чем в Европе, потому что в Европе, она была личным делом и занятием писателя, а в России — актом героизма или подлости, вызовом Империи или подпоркой режиму. Даже европейские литературные герои оставались таковыми на Западе, а у нас приобретали черты гражданской действительности. Овод и Павка Корчагин — лица исторические и в то же время легендарные, подобно Павлику Морозову. И кто из них реальнее? А кто реальнее — Ассоль, Аэлита или Зоя Космодемьянская?

Очевидно, в конце этих заметок я должен в чем-то признаться.

Если редакция попросила меня их написать, значит, она рассчитывала, что среди читателей «Если» есть некто, готовый их прочесть.

То есть интересующийся моей работой.

Так как прочитанное вами не мемуары и не воспоминания о моем славном прошлом, а попытка оторваться от работы неизвестно ради чего, значит, я еще стараюсь писать.

И сегодня же, завершив эти страницы, примусь, подобно тому самому голландскому мальчику, бегать вдоль плотины и затыкать пальчиком дырки.

Что же я делаю и что мне хочется сотворить?

Мне хочется написать новый исправленный вариант Каталога польских военных знаков 1914—1939 гг.

Сделать справочник «Гражданская война в России как интернациональный конфликт».

Доделать и издать «Спринт-историю», или Энциклопедию для новых русских.

Сделать «Современный сонник».

Написать 8 томов «Реки Хронос» (написано пока четыре).

Переделать, дописать и издать «Западный ветер — Ясная погода» (Вторая мировая война в Юго-Восточной Азии).

Написать монографию «Бирма в XX веке».

Писать фантастику, включая детскую, стараясь делать это ненамного хуже, чем двадцать лет назад.

И конечно же, доделать и издать наконец «Падчерицу эпохи», или Историю советской фантастики 117—1941 годов.

Это на ближайшие полгода. А дальше — посмотрим.

Шутка...